

НОВОСЕЛЫЕ

29-30

НЬЮ-Йорк

1 9 4 6

NOVOSELYE

Price 75 cents

НОВОСЕЛЬЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией С. ПРЕГЕЛЬ

№ 29-30

ОКТАБРЬ-НОЯБРЬ 1946

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

НА СЧАСТЬЕ

— С В Е Д Е Н Ь О Р Г —

(1688 — 1772)

Карты Сведенборга! Эммануил Сведенборг — какое волшебное имя — и с ним я родился. Я помню эти карты с первой памяти.

Я не отдавал моих глаз земле, как однажды свои отдал крот, но я мало чем отличаюсь от крота. А между тем доля человека начертана мне при моем появлении на свет. И случилось это в самый таинственный час из сокровенных ночей — еще первый петух не запел — в полночь красного лета Купалы.

И это не осталось незамеченным. И как молния и гром среди зимы запишется в неписанной летописи домашних, близких и знакомых на Москва-реке по Замоскворечью. Будет долго помниться и повторяться: 24-ое июня в полночь рождение человека. А досужие астрологи с Зацепы: черный кузнец, оперенный птичник и чешуйчатый рыбак вечерами по своим каморкам при одноглазой коптилке согнутся над городскопом.

И еще было дознано, сейчас же наутро, в блестящий день блистающего цветами Купалы, что родился в «сорочке». Правда, «бабка» схватила эту «сорочку», унесла из дому, в-тай, с собой.

Моя мать рассказывала с большой досадой, она все видела и не могла остановить: «Сорочка» эта, как веревка с висельника, приносит счастье!

«Ну и что ж, повешенный без своей веревки, — но какое еще надо ему счастье? А мне без «счастливой «сорочки», — но разве украдкой можно меня обездолить?»

Так за меня утешилась мать: я был последний — из пяти братьев меньшей. И все ей сочувствовали.

А при первых «Ладушках», подув мне на ладонь, повела кормилица от пальца к пальцу своим щекотным, а твердым, как сук, пальцем: «Сорока-воровка-где-была-далеко...» Она заметила на моей левой руке на ладони в желобке у большого пальца знак — красное пятнышко, как укол веретеном.

А уколола, — надо так понимать, — своим магическим веретеном Наречница, нарекая мне долю (Наречница-Парка-Норна-Мойра).

А этот знак, такой дар — такая сила счастья — не скрасть и не унести себе «на счастье», разве что с рукой. Будь не на Москве, а где-нибудь на дремучей Онеге, мне давно бы оттяпали левую руку.

Кормилица мне показала на моей ладони этот знак, и что-то говоря, но слов я не понял, я только чую: она говорила, что этот знак дается не всем, а из всех одному, а означает счастье.

И целуя меня в глаза, в щеки, в губы, в нос, в уши, шею, макушку, темя, она долго держит мою левую руку, не отрывая от ладони своих горячих губ — даже щекотно. Или хотела она выцеловать хоть долю счастья себе от меня, богатого счастьем.

Первое слово, которое мне запало с моим ласкательным именем, было «счастье».

В девять месяцев меня отняли от груди, в одиннадцать

я научился ходить и говорить. Проходили месяцы, а кормилица не отходила от нас.

Однажды, обрядясь в дорогу, стала она перед образом и молилась. Она молилась как простые русские люди, со всей теплотой и крепко, со всей русской несомненной верой, смиренно, но и неотступно — последняя надежда. И вдруг, чего-то как вспомнив, обернулась.

«Дай мне твою руку на счастье, эту, — и она показала мне на мою левую и свою поднесла ко мне ладонью, — хлопни!»

Я хлопнул по ее руке. И еще, и еще раз хлопну — мне было чудно и игриво. И все лицо мое в свете глаз моих «нечеловеческих» сияло от счастья.

И это движение моей сияющей счастливой руки и этот мне в-упор пригорюнившийся взгляд — глаза, смотревшие из глубины тревог и с такой несомненною русскою верой, смиренно, но и неотступно, запечатлелись в душе моей навсегда.

И все-то ей исполнится по желанию и вере.

Вечером она вернулась — ее не узнать было. Какая теплота, и свет сиял, когда она, обрадованная, целовала меня в глаза, в щеки, в губы, в нос, в уши, шею, макушку, темя и отмеченную ладошку на левой счастливой руке — со чмоком взасос..

Это было мое первое. Наверное, повторилось, и не раз — и с не меньшей удачей. И стало обыкновенным: редкий день кто-нибудь не зайдет в дом — мы жили на фабрике, много рабочих и жены их с детьми — и кто-нибудь всегда попросит:

«Дай ручку на счастье».

Мне всегда было очень приятно хлопать левой рукой по закорюзлым и тяжелым рукам; меня никогда не тяготило одарять моим счастьем.

И это навсегда. И остается неизменно.

С годами обращенный в крота, но вынужденный жить не под землей, в своей стихии, а во враждебной, под солнцем,

я чувствую себя таким бедным и беспомощным — чем я могу одарить или измученную душу как и чем обнадежу?

Мой природный счастливый дар спаян с именем Сведенборга. Карты Сведенборга, — я встревался моей судьбой в вашу судьбу.

Подлинных карт я никогда не видел. Знаю обыкновенные игральные карты, на обороте рукою матери ясно и четко имена и значение.

Но когда во время гаданья произносились имена, передо мной возникали живые образы: одни сулили удачу, другие грозили бедой, третьи предостерегали. Я «моими» глазами видел всех этих хамелеонов, волков, фазанов, тигров, астролога, водопад, арфу.

И потом, когда прошли годы и годы, и все, кажется, забылось, так давно это было, вдруг я вспомнил эти карты. И рисую их, совсем не думая, как нарисуеться, а только вспоминаю, как они легли на столе, голос матери и вздохмаченный у стола черный «гишпанец» — его глаза, ожидающие решения.

Так нарисовались эти мои карты Сведенборга — «бесхитростного знаменования» (*dessin inconscient*).

Попробовал я нарисовать эти же самые карты, но думая только о рисунке. И вышло — «прилично», но какая пустота и никакого волшебства. Да любой рисовальщик, не чета мне, сделает отчетливее, но и еще скучнее, и Сведенборгу никак не признать за свои карты: астролог будет со знаками зодиака, сфинкс с египетской фотографии, «гишпанец» — тореадор из «Тореадора», «амазонка» — знатная «леди» со старой гравюры, а звери и птицы — смотри Зоологический атлас.

Нагадала ли моя мать себе злую долю, она неохотно гадала, а себе никогда. Или поняла она, что не всякому в разум значение карт, ведь как часто «угроза» предвещает вовсе не горе, а благо человеку, а «благополучие» — распад и развал, сущую беду. Сужу по своим снам, вычитывал про

такое и в сказках. Или она щадила человека — боялась «правдой» смутить и развеять последнюю надежду.

И вот что странно — и это уж потом, когда нарисую эти волшебные карты — вспоминая старину, на Святках для забавы около елки в свете свечей гадаю — если по картам выходило плохо, я всегда вычитывал другое из «благоприятных»; а после проверю: да никакой беды не случилось, и все как по моему вышло. Или мое «благоприятное» оказывалось верным истолкованием «угрозы»? Или пожеланием можно отвести грозу и погасить начавшийся пожар бед? Да, видно, что так, но...

Как за моим счастьем, моей отмеченной рукой — в дорогу или при решении и начале дела, появлялись у нас на кухне наши фабричные соседи погадать на Сведенборге. В самом имени Сведенборга, звучавшем как-то на русский лад, передавалась таинственность карт. Если мать уступала и раскладывала карты, я всегда был возле.

Я и так бы не забыл вечера — эти унылые осенние вечера, с завывом ветра и костяным постукиванием в окно, этих нахмуренных, продрогших, забитых «гишпанцев» и «амазонок» у стола перед разложенными картами, но из всех вечеров особенно памятни, когда я своею судьбой встречаюсь в непререкаемую судьбу Сведенборга. По Сведенборгу выходит темно и угрожает — беда неизбывна! — но моя счастливая рука...

«Дай ручку на счастье! — скажет который упавшим голосом, потерянный перед неизбежным.

И я хлопал своей левой рукой по черной, мозолистой, трудной руке.

И после самых несчастных карт, приговоренные Сведенборгом, люди уйдут обнадеженные моим счастливым даром: моя счастливая рука развеет и осветит.

Все это я понял и пересказал себе в который раз, когда я вдруг почувствовал, что я один, заброшен, — и как это случилось, меня никто не зовет, и почему забыли? И как бы

Н о в о с е л ь е

проверяя жестокую напорхнувшую мысль — разгадку, я невольно посмотрел на свою левую руку. И с ужасом заметил: на ладони в желобке у большого пальца не кровавый укол, а одна бледная точка: счастье покинуло меня.

Но разве нареченное судьбою счастье может покинуть человека? Нет, — доля неизбывна.

И снова — на какой-то срок — я буду чаровать человеческое сердце. Но это совсем про другое. Тут не о руке — с чарующей «счастливой» рукой покончено — тут мой голос: редчайший среди голосов — альт.

В церкви за всенощной я буду петь в хоре догматики русским старинным распевом с отголоском древних русалий. Глубь и чистота моего голоса раскроют и обедованное, сжатое в комок сердце, и веем надеянной весны я вдохну мир в измученную душу.

1946
Paris

УСТАЛЫЕ СЛАБЕЛИ РУКИ

Усталые слабели руки,
И дни старели на лету,
Но падали сквозь дым разлуки,
Как слезы, искры в темноту.

Осенний дождь в безмолвье капал.
Я знала, ночь в окно стучит.
С большой широкополой шляпы
Стекали пенные лучи.

Под утро иней слал обманы
Тому, кого пленяет лед,
Кто на груди, остывшей рано,
Родную землю бережет,

Кто не забыл во тьме поселок,
Полозья ровные в снегу,
И тот бутылочный осколок
На черноморском берегу,

И синих парков шелест чинный,
Скамейки, урны и мостки,
И запах мокрого жасмина, —
В высокомерии чужбины
На перекрестках городских.

НА ПОГОСТЕ

Камень бурей обглодан,
Выщерблен мавзолеей —
Жатву страшного года
Здесь вернули земле.

В неживом розмарине
Свет осенний зачах,
Вдруг **взрываются мины**
На потухших лугах.

Узенького шалфея
В **травках** стынет перо,
Танк уныло ржавеет
У решетки сырой.

И бессмертника **слезы**
Капли в чаши венков,
И проходят **обозы**
Медленных облаков.

Кровью вечер **безлунный**
Тронул неба края,
По извивам **чугунным**
Льется ленты струя.

Утром в **клочьях тумана**
Тот же страх за кустом,
Серый холм **безымянный**,
Светлый **гроб деревянный**
На погосте пустом.

В. ВАРШАВСКИЙ

ПРОГУЛКА В ГОРОД

(Рассказ военнопленного)

Госпиталь был расположен недалеко от лагеря на окраине захолустного померанского городка. Серые бараки уныло жались к земле на голой четырехугольной площадке, обнесенной двумя рядами высоких столбов с дико и густо накрученной между ними колючей проволокой. Здесь я провел последний год плена. Часовые в шлемах стояли у ворот и на угловых вышках. Другие, поблескивая лезвиями примкнутых штыков, прохаживались вдоль ограды. Им было скучно, они пробовали с нами заговаривать, выпрашивали папиросы. За проволокой, через дорогу — длинная цепь вросших в землю пороховых погребов, а с другой стороны ельник, песок, железнодорожная насыпь. Здесь мало ходило поездов, боковая ветка. Вдали, за краем леса, виднелись сторожевые вышки другого, страшного лагеря. В деревянных сгнивших бараках там умирали немногие выжившие после первой зимы русские.

Раз в неделю оттуда к нам водили на рентген больных и раненых. С ними приходил Федя, фельдшер. Здесь у дверей рентгеновского кабинета я с ним и познакомился.

В ворота госпиталя въехала черная, глухая карета. С трудом передвигая разбитыми ногами, ее тащила старая рыжая лошадь. Сзади под охраной вахмана шли русские врачи. Карета остановилась около мертвецкой. С бледными лицами мы смотрели как двое русских санитаров растворили дверцы в задней стенке кареты и вытащили за ноги ужасное существо: грязно-серый глинистый слепок человеческого тела. Держа его за ноги и подмышки, так что оно прогибалось в поясе книзу, тяжело переступая, они внесли его в мертвецкую. Потом они вытащили и перенесли еще пять таких же

серых, голых, страшных существ или предметов, бывших раньше людьми. Один был огромным, бесконечно длинным. Санитары сутуло сгибались, внося его на крыльцо.

Из постылого времени нашей тюремной жизни, тягостной, но все-таки обжитой, все-таки еще жизни и надежды, мы со страхом смотрели на ставшую видимой, нам знакомую, но о которой лучше было, как дети, не думать, неместимую человеческой душой правду существования: убийство и смерть.

Каждый раз, когда приходили русские доктора, мы старались собрать им что-нибудь поесть. Подкупленный вахман закрывал глаза. В этот раз решили покормить их тут же, в мертвецкой. Здесь была пустая комната, в которой стояли заготовленные для наших больных новенькие некрашенные гроба. Мы разложили на их крышках американские консервы и хлеб. Когда все было приготовлено, я пошел в залу, где делали вскрытие. Для этого нужно было пройти через другую пустую комнату. Здесь на полу, расставив одеревеневшие ноги, лежали на спине пять необмытых ссохшихся трупов. Очертания и выпуклости мышц стояли, оплыли, и только очень тонкий слой опавшей мертвой плоти облипал выступающие ребра и кости конечностей, как будто бы обсосанных чьим то чудовищным ртом.

У лежавшего ближе других одна рука завалилась за спину, и с похабным глумлением смерти из-под низу высовывалась в вымазанном почерневшим калом межножьи, как будто стараясь поймать и подержать на ладони детородные части, странно крупные на этом исчахшем теле. Его молодое лицо было треугольно заострено к подбородку. В широком лбу стеклились черные ямы огромных раскрытых глаз. Из них на меня глянули темный безымянный ужас и недоумение перед наступающим мраком уничтожения и человеческой злобой, охватившие его уже мешающееся сознание, когда он понял, что больше нету надежды, что он умирает и никогда для него не вернется жизнь, свободная от власти страшных чужих людей, ни столько его не жалевших, но почему то, зная,

что он должен жить, так как жизнь для него была всем, с презрением и равнодушной ненавистью его убивших.

Мне не вспомнилось ни одного примиряющего рассуждения, пока я смотрел в эти глаза.

Я приоткрыл дверь в соседнюю комнату и отшатнулся. За спинами наших и русских врачей я увидел лежавшее на столе такое же мертвое, серое тело. Другой мертвец сидел у него в головах и распиливал ему череп. Я сейчас же понял свою ошибку, и все стало на место: это был немецкий специалист, делавший вскрытие. Он был живой, только что-то бесчувственное было в морщинах его лица, ужасно грубое и жестокое. Его голый, без единого волоса высокий череп лоснился под падающим сверху светом электрической лампочки. Я попятился и закрыл дверь. За мною вышел старший русский врач Дьяконов, невысокий коренастый человек с большой рыжей бородой, в стеганых штанах, ватнике и зимней шапке. Несмотря на нездоровую бледность его длинного лица, во всем его облике было что-то успокоительное, домашнее. В утомленно полуприкрытых глазах светилась неистребимая добродушная насмешливость. Я сказал ему:

— Доктор, все уже приготовлено.

— Ну, спасибо, дядя Вася. У нас как раз сейчас перерыв будет. А у меня к вам просьба, — он посмотрел на меня вопросительно, — там у вас наши больные проходят теперь через рентген. Доктор Семенов не может притти. А Феде, знаете; фельдшер наш, скажите чтобы приходил. А то с утра стоит там в коридоре не евши. Пожалуйста, сходите, голубчик. Вы не бойтесь, наш «пастух» (он так называл вахмана) ничего не скажет.

— Хорошо, я сейчас схожу... Доктор, а отчего умерли эти русские?

— Туберкулез главным образом. Каждый день человек до двадцати умирает. А теперь немцы почему то отобрали несколько трупов. Решили вскрытие делать. Говорят, для научных целей. Что же, по врачебному это даже более правильно. А лучше бы углеводов больше давали.

Он прислонился к стене. Его зеленоватое лицо с закрытыми веками показалось мне очень усталым. Покачав головой, он сказал с улыбкой над собственной слабостью:

— Знаете, не могу долго стоять на ногах. Начинает голова кружиться.

Выйдя из мертвецкой, я жадно вдохнул всей грудью холодный туманный воздух зимнего дня.

Рентгеновский кабинет помещался в хирургическом баре в самом конце коридора. Мне невезло. Как только я вошел в сени, дверь канцелярии приотворилась, и унтер-офицер Цорн, посмотрев на меня недовольным взглядом мрачно-красивых наглых глаз, грубо спросил: «Куда идешь?..» Я сказал, что иду к нашим санитарам и вошел в их комнату. Там, окруженный нашими санитарам, смотревшими на него с детским ужасом и участием, стоял большой человек в черной шинели. На его изможденном темном лице с провалившимися щеками и широкими скулами черные без блеска глаза смотрели перед собой странно сосредоточенным, упорным взглядом. Казалось, он не отдавал себе отчета где он находится и кто эти люди вокруг него, а все продолжал рассматривать что-то нам невидимое, бывшее перед ним. Так смотрят иногда сумасшедшие и пьяные, отчуждающим их от всех других людей взглядом, поглощенным страданием какой-то неотступной, неразрешимой мысли. Товарищи совали ему сухари. Он брал машинально, со странной безучастностью не благодарил, и вместо того, чтобы прятать сухари, продолжал стоять, держа их в опущенных руках, так что они начали выскальзывать один за другим у него между пальцами и падать на пол. Тогда товарищи стали сами засовывать их в карманы его шинели. Один предложил папиросы. Он покачал головой и с трудом разлепив серые губы, так что открылись ровные, будто фарфоровые зубы, странно яркие и влажные на его землистом лице, медленно, но с какой-то спокойной уверенностью что его должны понять, проговорил:

— Нет, целых не надо, все равно Султан отнимет, а вот маленьких этих, окурочков бы дали.

— Эй, *grand-duc*, что он говорит? — спросил меня один из санитаров Жан.

Я знал, что Султан был «полицай», стоявший у входа в русский лагерь и обыскивающий, когда они возвращались, всех русских, ходивших в наш госпиталь. Я объяснил это товарищам.

— Спроси у него может ли он сшить мне ночные туфли, я дам ему обрезков сукна, — попросил Жан.

Русский казалось нисколько не удивился, что я, француз, обращаюсь к нему по-русски. Он подумал и все так же с усилием выговаривая слова, ответил:

— Нет, не могу. Больной я. Били меня.

— Кто вас бил?

— Немцы, — сказал он, взглянув на меня с испугом, и я увидел, как тоскливое недоумение в его темных глазах еще усилилось, и в них промелькнуло то же выражение обиды и страха, как у того русского, лежавшего на полу в мертвецкой. — Работали мы на лесопилке. Человек семьдесят. Приехали офицера ихние с солдатами. С ними переводчик. Стали уговаривать записываться в Р. Ю. А. Никто не записался. Тогда взяли каждого третьего и тут же у нас на глазах расстреляли. Опять велят записываться, а мы твердо стоим, не соглашаемся. Но больше не расстреливали. Бить только стали: прикладами, дрекольем, сапогами. Все нутро отбили.

Он помолчал, будто обдумывая что-то, и убежденно, как окончательный вывод, медленно произнес:

— Обижают русский народ.

В это время в комнату заглянул худенький, с бледным молодым лицом человек в русской фуражке и дотронувшись до его локтя ласково, но твердо сказал:

— Идемте, Сидоров, сейчас ваша очередь будет.

У этого маленького русского была на рукаве повязка красного креста. Я догадался, что это и был Федя. Я вышел за ним.

— Простите, это вы — Федя?

— Да, меня Федором зовут. А как вы узнали? — спросил он с детским удивлением.

— Вот мы там устроили закусить вашим докторам. Приходите и вы.

— Нет, спасибо большое, не могу больных оставить, — сказал он мягко, видимо не желая обидеть меня отказом, но со спокойной твердостью. По его осунувшемуся лицу человека давно голодающего не прошло даже тени колебания или сожаления.

Видя, что настаивать бесполезно, я показал глазами на Сидорова, который стоял теперь прислонившись к стене, все с тем же выражением человека, сосредоточенно обдумывающего какой-то мучительный вопрос:

— А что с ним, тяжело болен?

— А, этот? Доходяга, — сказал Федя, взглянув на него и улыбнувшись.

— Что такое доходяга? — переспросил я, не поняв этого слова.

Федя, все продолжая улыбаться, стал с готовностью объяснять:

— А как же, доходяга это тот, кто уже примирился что помирает, доходит, значит, не борется больше за жизнь. У нас так и делятся на доходяг и шакалов. Шакалы, эти промышляют чем-нибудь, или торгуют, или на кухне работают.

— А что ему правда так плохо, нету больше надежды?

Федя с сомнением покачал головой.

— Если бы другие условия. А то, знаете, теперь немцы наших туберкулезных по новому методу лечат. Если видят, что уже к концу идет, ставят под холодный душ. Радикальное средство.

— Что же, неужели помогает? — спросил я наивно.

— Нет, наутро помирают, — как будто с удивлением, но одобрительно подтвердил Федя.

— Неужели это может быть?

— Ну, как же. Теперь это они даже более по врачебному делают. А то раньше, когда тиф был, придут ночью полицаи

в тифозный барак и перебьют всех бревнами. Наутро ни одного больного. А немцы довольны — эпидемия ликвидирована. И полициям выгодно. Довольствие на больных накануне выписывается, так что они лишние порции между собой делят.

Федя больше не улыбался, говорил серьезно, но все с таким же радостным одобрением. Уж не смеется ли он надо мной, подумал я и посмотрел на него пристальнее. Его изможденное, грустное лицо, тронутое оспой, с приятными чертами и заострившимся ястребиным носом было чисто выбрито, отчего еще прозрачнее казалась обтягивающая скулы кожа. Из-под ворота гимнастерки виднелась белая полоска чистого подшитого воротничка. Во всем, по тому как он держался и как опрятно был одет, чувствовалось большое усилие сохранить человеческое достоинство. Он смотрел мне прямо в глаза, и в его печальном голодном взгляде было такое же выражение как у Сидорова и у того мертвого русского в морге.

Я предложил ему папиросу. Он отвел глаза и отказался.
— Спасибо, я не курю.

Я оглянулся. Около двери рентгеновского кабинета, как нищие на паперти, в лохмотьях, изувеченные, согнутые, стояли и лежали на носилках русские больные и раненые. Один, скорчившийся на полу, совсем еще мальчик со стриженной ежиком головой, в последний раз жадно затянувшись, передал тонкой прозрачной рукой окуроч стоявшему рядом раненому с забинтованным лицом и взглянув на него острым глазом сказал:

— На, артиллерист, покури.

Я рассчитал, что у меня хватит на всех и роздал им бывшие у меня папиросы. Ко мне тянулись высохшие коричневые руки. Несколько голосов сказало:

— Спасибо, друг.



Письма из Франции мы уже давно перестали получать.

Все ждали конца. Но шли дни, месяцы, наступила зима, а фронт был далеко, за сотни верст. Все так же оперировали на хирургическом, не дождавшись освобождения умирали больные в отделении для помешанных уже нехватало места. Все так же по утрам по коридору пробегал немецкий унтер и врываясь в комнаты кричал пронзительным голосом: — Вставать!

Нам почти уже не верилось, что раньше была другая жизнь, что когда-нибудь кончится наш плен. За оградой стояла тишина. Может быть, все люди в мире уже умерли. Иногда кто-нибудь вздыхал:

— Господи, хоть бы бомбардировка!

И вдруг все изменилось. Русские рвались через Мазурские болота. Через наш лагерь проходили французские и английские пленные из дальних штрафных лагерей. Их гнали из Восточной Пруссии. Многие отморозили в пути ноги, лица, пальцы рук. Каждый день, начиная с утра, они приходили в госпиталь по двое, по нескольку человек, ковыляя, поддерживая друг друга. Других привозили товарищи на сбитых из досок санках. Они сидели кучей, неподвижно, с черными пятнами на лицах, обмотанные вязаными шарфами, тряпьем, одеялами, в самодельных башлыках. Молча, спокойно и внимательно они смотрели на нас блестящими глазами, словно им хорошо было так сидеть на салазках, тесно прижавшись друг к другу. На хирургическом отделении резали ступни и пальцы.

Один француз рассказывал, что когда их эвакуировали, в поле уже шли русские танки.

В русский лагерь стали привозить раненых русских прямо с фронта. Некоторых из них оперировали у нас в госпитале. Федю перевели к нам ходить за ними. Я всякий раз, когда было можно, старался с ним поговорить. Но мне это редко удавалось. Он почти совсем не выходил из палаты, где лежали оперированные русские. Наши доктора его хвалили, говорили, что он очень старательный и знающий санитар.

Теперь он иногда брал у меня папиросы, но каждый

раз приходилось его уговаривать. «Что же я у вас буду брать. У вас у самих не останется». говорил он, жалея меня.

Он никогда сам не заговаривал, не задавал вопросов, но на мои старался ответить как можно точнее и обстоятельнее.

Из наших коротких разговоров в коридоре я скоро узнал, что он был шестым сыном в крестьянской семье. В малолетстве пас деревенское стадо. «Если бы не советская власть, так бы всю жизнь и ходил за коровьим хвостом». Кончив десятилетку, получил стипендию на фельдшерские курсы.

— Что же, вы охотно учились, Федя? — спросил я с любопытством.

— И как еще охотно. Бывало, во всем себе откажешь, даже в театре. Конечно, театр — прекрасное, культурное развлечение, но мне все как-то больше учиться хотелось. Ведь я врачом собирался стать. Выписывал научные книги по медицинским вопросам. Все вечера занимался. Вы знаете, иногда идешь по улице, вдруг видишь деревья цветут, уже весна, и не заметил как зима прошла... — Он улыбнулся, задумавшись. — Особенно книг моих мне жалко. Вся моя библиотека наверно пропала. Ведь я орловский. У нас там фронт долго стоял. Верно, все сгорело, разрушено.

— А для чего вы учились, Федя? — спросил я нарочно. — Чтобы денег больше потом зарабатывать?

— Чтобы работать для народа, — ответил он не задумываясь, как заученный урок, но с таким искренним убеждением, что видимо и вправду ему никогда не приходила в голову мысль о возможности других целей для человеческой деятельности.

— Вы знаете как медицинская наука может помочь народу, — сказал он, оживляясь. — Или хотя бы борьба с эпидемическими заболеваниями. Вот в 1937 году мы производили районное обследование...

И он с увлечением стал говорить о своей работе в какой-то санитарной комиссии. Потом вздохнул.

— Да, жили, учились, строили. Не ждали что так будет. От него я узнал много страшного о происходившем в

русских лагерях. Он рассказывал сдержанно, без озлобления, только с каким-то недоумением.

— ...Нет, все-таки этого мы не ждали. Мы знали, конечно, что фашисты нас ненавидят, так как мы единственная социалистическая страна, но чтобы такое было... Мы привыкли думать, что на западе культура. Сколько у нас книг с иностранных языков переводилось. Что ж, может быть у нас была еще известная отсталость, но разве у нас так с немецкими пленными обращались? Получали такой же паек как наши бойцы. Бить вот как строго запрещено было. У другого бойца накопится на сердце и хотел бы ударить, да знает, накажут, себе дороже будет. А они нас били, прямо убивали, так, без всякого повода, неизвестно за что... ведь меня и по лицу били, — сказал он с усилием. Потом, помолчав, печально прибавил: — Знаете, иногда сам удивляюсь как живой еще. Ведь посмотреть — силы во мне совсем нету. Другие куда здоровее, а не выдержали, умерли... а я вот живу.

Но больше всего мы говорили, конечно, о военных новостях и слухах. В эти дни мы не могли думать ни о чем другом.

На карте пространство между нами и линией фронта теперь быстро таяло. Называли города, бывшие совсем близко, в 100, в 60, в 40 километрах. Потом уже в нашем районе, в 20 километрах.

Скоро увезли тяжело больных и всех англичан и американцев. Но нас пока оставили. Мы надеялись: не успеют. Не было больше угля. В нетопленных бараках стояла стужа. В палате, где лежали раньше американцы, было светло, холодно и пусто. Часто не было воды и электричества. Когда гас свет, мы с радостью думали: вот русские взяли город, откуда подавали нам ток. Но проходило несколько часов, свет снова появлялся, снова шла вода. Днем над госпиталем часто кружились русские истребители. А по вечерам замощно выли сирены, гасло электричество и над нами с могучим рокотом моторов в черном небе летели отряды бомбовозов, и потом вдали долго слышались бившие сверху удары

и глухой грохот. Там небосклон вздрагивал, как освещенный зарницами.

От эвакуированных из окрестных деревень товарищей мы знали, что фронт стоял к югу от нас, совсем близко, но русские шли на запад, к Одеру, а в нашем направлении, на север, посылали только боковые заслоны и конные разъезды.

В той стороне, где шли русские, высоко в небо подымались зарева пожаров. Днем их не было видно, но вечером, когда темнело, весь небосклон был кровавым и дымным. А потом и на севере и на востоке встали пожары, и мы уже не понимали где проходит фронт. По ночам наш лагерь был окружен как бы огненной стеной.

Каждый вечер мы туляли за бараками, стараясь угадать какие города это горят и в скольких километрах отсюда. Потом стала слышна далекая канонада. Немцы говорили, что это ихняя учебная стрельба. Но им уже никто не верил. С каждым днем канонада приближалась.

Наступил вечер, когда уже не могло быть больше сомнений: бой шел совсем близко. Я стоял за бараками, около ограды из колючей проволоки. Были слышны отдельные, как будто нагонявшие друг друга, часто следовавшие один за другим резкие звуки орудийных выстрелов. В темном лоне окружающей нас ночи эти звуки, казалось, двигались, то сходились — удары выстрелов били все быстрее, все чаще, все с увеличивающимся ожесточением и силой, — то снова расходились, слабели, отдалялись.

— Это танковый бой, — возбужденно сказал стоявший рядом со мной санитар Олив, по-африкански пышно-курчавый человек с могучим туловищем на коротких кривых ногах. Он был родом итальянец и говорил с сильным марсельским выговором. На толстом курносом лице его блестящие глаза смотрели всегда весело и дерзко. В высоко вырезанные ноздри был виден заросший черными волосами розовый хрящ перегородки.

— Р....., — сказал он с восхищением качая головой.

Орудийные выстрелы гремели теперь совсем близко. Перед нами в глубине ночи, надвигаясь, грозно и яростно грохотала невидимая нам свалка, как будто кто-то с нечеловеческой силой и злобой, все быстрее и быстрее, бешено бил в железо огромным ломом, и вдруг совсем рядом, казалось, из-за ближайшего перелеска, полилась строчащая стрельба пулемета.

— Идут товарищи русские — торжествующе сказал Олив и с насмешкой крикнул стоявшему на вышке часовому: — *Russo como!* — Он верно думал, что сказал это по-немецки.

К нам подошел делавший свой обычный вечерний моцион польский хирург. На каком языке он бы ни говорил, он всегда прибавлял при обращении слово «пане», и французы прозвали его «панье». А я долго думал, что это потому что по-французски *panier* — корзина, а он был толстый, с круглым животом. Он остановился, так же как и мы слушая гремевший в ночи бой и всматриваясь в темноту, стараясь угадать что там происходило, улыбаясь сказал:

— Симфония.

Я постоял рядом с ними и пошел обратно к баракам. Волнение сжимало мне горло. Я вспомнил, как будто это было вчера. Мы работали в поле. Из-за леса показалась и стала быстро приближаться телега. Это возвращался из города сосед баур. Стоя, крутя над головой возжами, он гнал лошадей вскачь. Странно. Бауры так никогда не ездили. Шибко стуча колесами, раскачиваясь на ухабах проселка, телега прогромыхала мимо. Взмывленные лошади тяжело храпели. У немца было озабоченное нахмуренное лицо. Сзади него тряся, свесив ноги, работник-поляк Мечислав. Уплывая в облаке густой белой пыли, он успел мне крикнуть на своем ломаном русском языке:

— Война уже есть.

Потом первые смущающие, ужасные известия.

Я уехал из России мальчиком. Был ли я еще русским? Но теперь, когда хозяин немец сообщил нам военные новости,

и я спросил его взяли ли уже немцы Ленинград, у меня замирало сердце. Он нахмурил узкий лоб, силясь вспомнить что говорилось в сводке, и кивнув головой сказал: «Drinn». И я вдруг почувствовал к нему такую ненависть, что должен был отвернуться. Мне было трудно дышать. Слава Богу, это оказалось неправдой. Потом ездивший в лагерь вахман рассказывал нам про русских пленных: «Это скорее животные чем люди. Они все больны. Каждый день умирает 200-300 человек». И он наивно прибавил: «Голодный тиф». Весной на соседних фермах начали ставить на работу русских. Но они не держались на ногах от голода, не могли работать. Самых слабых пристреливали, убивали прикладами. Других покрепче стали подкармливать. Летом среди них начались побег. Шли ночью, по звездам, на восток. Днем прятались в лесах, лежали во ржи. Немецкие солдаты и крестьяне устраивали облавы с собаками. Бабы боялись отходить от дворов...

И вот теперь совершалось. В окружающей нас ночи, сокрушая заколдованное могущество наших порабитителей, в грохоте боя шла неизвестная грозная Россия, от берегов которой я отплывал двадцать лет тому назад.

У входа в последний барак я почти наткнулся на маленькую фигурку, притаившуюся в тени.

— Федя, что вы здесь делаете?

Он взял меня за руку и тихо, сдерживая волнение, сказал:

— Василий Васильевич, слышите эти разрывы один за другим: та-та-та-та. Это катюша играет.

Стараясь различить среди звуков оружейных выстрелов и пулеметных очередей эти особенные звуки стрельбы «катюши», я спросил:

— А правда эта катюша такая страшная?

— Ах, ужасная, все сжигает. — Он помолчал и вдруг заговорил со страстностью, удивившей меня, так как всегда он был очень сдержан: — Василий Васильевич, не могу я больше, убегу к своим.

— Да, Федя, мы тоже обдумываем, но знаете как трудно

перейти линию фронта. Мы разузнавали: на всех выходах из города стоят заставы.

— Все равно, пусть убьют. Измучился я здесь. Верите ли, ни одной ночи не сплю. Все лежу и думаю, как же это, русские, свои, совсем близко. А я то что же... Раньше мне нельзя было. Не мог бросить больных. А сегодня вечером мой последний умер, — сказал он печально.

На следующий день Федя перешел от нас обратно в русский лагерь.

Вечером около кухни, стоял с телегой высокий, в белой папахе русский конюх Яшка Медяков. Федя о чем-то говорил с ним вполголоса.

Русские конюхи жили на конюшне при нашем лагере. Жили богато. Вся торговля проходила через их руки. Возили и крали американские посылки, пили водку, имели любовниц в городе.

В первый раз когда я увидел Медякова, он так же как сегодня стоял у кухни с телегой. Только тогда мороз был крепче. Туго перепоясанный по впалому животу, притоптывая озябшими ногами, он прохаживался около лошадей легкой как волчья побегка походкой. Я слышал, как он напевал:

Есть на свете угалочик,
Ето тоже да не мой...

Даже в узкой ему шинели и неуклюжих сбитых сапогах он был хорош собой: высокий рост, статное сложение с широкими плечами и грудью. Белая папаха очень шла к его уже испитому красивому лицу, с молодецки выпущенной на лоб вьющейся прядью русых волос. Но во взгляде серых глаз было что-то тяжелое, скучное, ленивое. Держал он себя независимо, почти высокомерно.

Я спросил его:

— Вы казак?

Смотря на меня с высоты своего громадного роста, он усмехнулся, открывая белые сплошные зубы.

— Дед мой был казак, отец — сын казачий, а я... — он не договорил, чувствуя, что получается как-то обидно для него самого. В сердцах он резко дернул за узду заигравшую лошадь, и с такой силой треснул ее кулаком по лбу, что я невольно сказал:

— Зачем вы лошадь бьете?

— Нет, я сляхка, — посмотрел он на меня с удивлением и презрительно.

Чтобы испытать его, я спросил что он думает о власовцах. Он нахмурился.

— Что же, добровольно мало кто шел. Были конечно б..., а так больше с голода. Все равно в лагере помирать. А там, думали, к русским перебежать можно будет. Немцы обещали мясо будут давать, жалованье платить, а потом в Рассее землю отведут. Только меня не заманишь. Хоть медом кормить будут. Не люди они, звери. Ведь у нас в лагере что делалось, по 400 человек в день умирало. Тифозных зарывали, шевелились еще. Ведь они на нас как смотрят. Будто не люди мы даже вовсе, а вроде хвостатых. Одна баба немецкая старая и вправду думала, что у нас копыта на ногах. Ей-богу. Все мальчика внушка приводила, просила показать. А у нас разницы не делали: русский ты или француз или немец. Хочешь работать — живи свободно, такие же права как у всех. Или вот у нас в армии. Всякий офицером мог стать. Была бы голова хорошая. А там русский ты, или узбек, все равно.

Я спросил:

— Ну, а как вы дома, в России жили?

Он ответил не очень охотно:

— Что же, хорошо жили. Не так как здесь. Панов не было, на себя работали. У нас свобода была. Отработал 7 или там 8 часов, идешь с бабой в парк гулять или в кино, водку пьешь, никто тебе ничего не скажет. Не понравилось на одном месте, пошел на другой завод, или совсем в другой город уедешь, или на село. А здесь как живут? Дома хорошие, чистые, ничего не скажешь. Это у них по культурному. А ни

парка, ни клуба. Некуда на люди пойти. Сидят каждый у себя как кроты, да только кофе без сахара и пьют. Живот болит. А дома бывало накидаешь в чай этого сахара, прямо патока, кушать приятно... а спинжаков этих самых сколько было. Не так как здесь, старого не донашивали, на помойку бросали.

Но он говорил об этом изобилии равнодушно, со скукой. Смотрел в сторону. Как если бы не это, а что-то другое, чего он не мог объяснить словами, было главным в жизни.

Сегодня у него было непривычно оживленное выражение. Глаза возбужденно блестели, на скулах горели красные пятна. Мне показалось, что он был уже выпивши.

— Вы, Яков, веселый сегодня, — сказал я, подходя к нему.

— Х....-ж плакать, — ответил он весело и почти грубо. — Как говорится, в Москве на слезы не смотрят.

Я не удержался и поправил его:

— Москва слезам не верит... А что, Яков, как вы думаете, успеют они нас эвакуировать или нет?

Яшка посмотрел на меня смеющимися глазами:

— Эх, пришли бы вы ко мне на конюшню: Выпьем водки. Я вам показал бы, у меня карта есть. Ведь что делают, — он свел перед собою руки, как будто обхватывая что-то, — смеяться будете.

В это время из двери кухни, засовывая в подсумок какую-то завернутую в промаслившуюся газету снедь, вышел на крыльцо хромой немецкий унтер и с трудом влезая на телегу сердито крикнул:

— Живо, Иван, и так поздно!

Яшка посмотрел на него со скукой и презрением и спокойно сказал:

— Погоди, вот русские придут х... кричать будешь.

Он поправил на лошади оголовок и тоже полез на телегу. Сидевший уже на мешках немец, ставя карабин между колен, недовольно повторил: «Живей, живей!» Яшка уселся, расперся удобно и неторопливо разобрал возжи. Телега тро-

нулась. Федя положил свой узелок на лежавшую на телеге поклажу. Протянул мне руку .

— Ну, Федя, не поминайте лихом.

— Что вы, Василий Васильевич, ведь я об вас кроме как самого хорошего ничего не могу сказать.

Он вскочил бочком на телегу, выезжавшую гроыхая колесами на мощный спуск к воротам, и уже издали помахал мне рукой.

А на другой день серб Милован, каждое утро ходивший со своим унтером в русский лагерь, сказал мне, что Федя и Яшка, вместо того, чтобы вернуться в лагерь, бежали. Лошадь и телегу бросили на дороге. Хромой унтер лежал на обочине, в канавке. Когда пришел в себя, рассказывал: сзади его огрели чем-то по голове, что было потом — ничего не помнит. Карабин его тоже исчез.

Не знаю, обдумали ли Федя и Яшка побег заранее, или внезапно решились, когда ехали через лес. Вспомнили, что русские близко, на дороге никого не видно. А лес темный. Сосновый бор.

Немцы ходили в лес с собаками. Не нашли. Да и боялись, верно, ходить далеко. Знали, что у Яшки карабин.

Прошло два дня. По дороге, вдоль железнодорожной насыпи все время двигались войска, обозы, артиллерия. Целая дивизия эсесовцев пришла в наш город. Видимо, было решено его защищать. Наша лагерная охрана ходила в поле учиться стрелять из панцер-фауста. У караульного помещения стояли телеги. Немцы накладывали на них ящики, мешки, ранцы. Мы знали, что немецкий врач настаивал на эвакуации госпиталя.

После обеда мой товарищ Шарль велел мне надеть повязку красного креста. Видя мой недоумевающий взгляд, он спокойно заявил:

— Мы идем в город, *grand-duc*, нужно посмотреть что там делается.

— Разве у тебя есть пропуск? — спросил я.

— Нет, нету. Но это предоставь уже мне.

Мы вошли в главную канцелярию. Шкафы были открыты. На полу вороха разбросанных бумаг, солома, обрывки бичевки. Сам херр обер-цальмейстер укладывал счетоводные книги и папки архивов в стоявший посередине комнаты большой деревянный ящик. Это был высокий, дородный, раздражительный старик с оловянными сумасшедшими глазами и трясущимися как студень щеками. Его боялись и не любили даже сами немцы. Я помню, как однажды встретив его на аллее, я не отдал ему чести, и он кричал на меня, задыхаясь, бешеным горловым криком, выкатив бессмысленно округлившиеся глаза и багрово раздуваясь в лице. Но теперь у него было растерянное и смущенное выражение. Он робко на нас взглянул и улыбнулся виноватой, почти заискивающей улыбкой, как если бы мы застали его за каким-то стыдным занятием.

Почтительно, но твердо смотря ему в глаза, Шарль попросил у него пропуск в город.

— Ах, я не знаю, спросите в караульном помещении, — замахал герр обер-цальмейстер руками.

И тут произошла невероятная, как во сне наяву, сцена. Старательно и отчетливо выговаривая каждое слово Шарль сказал:

— Герр обер-цальмейстер, а вы не думаете, что ваше немецкое наступление уже лопнуло? — и трясаясь животом, он беззвучно засмеялся своим заразительным утробным смехом, смотря на обер-цальмейстера сияющими самодовольным весельем шелками сузившихся как у кота глаз.

Обер-цальмейстер несколько секунд озадаченно смотрел на Шарля выпученными глазами.

— Что? — начал он грозно, и его шея и затылок с жирными складками стали апоплектически краснеть. Но вдруг он остановился, его лицо опять приняло растерянное, испуганное выражение, и дрогнувший рот искривился жалкой улыбкой, как будто говорившей: я только бедный, несчастный старик, не желающий никому делать зла. Он сказал, отвернувшись:

— Скажите дежурному унтер-офицеру, что я даю вам разрешение итти в город.

Дорога от ворот шла вниз, под железнодорожный мост, а потом через поле и пустыри, отделявшие наш госпиталь от первых домов предместья.

По всему полю желтели насыпи свежее вырытой глинистой земли, и в ямах шевелились копавшие лопатами люди. Старый солдат, работавший около самой дороги, остановился и опершись на заступ молча с удивлением смотрел на нас, пока мы проходили мимо.

Я долго не покидал госпиталя, и мне теперь странно и дико было вдвоем с Шарлем идти без вахмана по дороге, пересекающей открытое поле.

Мы вошли в предместье. Многие дома стояли заколочеными. Большинство жителей давно уже выехало. Выход на главную улицу был загорожен бревенчатым срубом с наваленными в середину булыжниками. Запрудая всю улицу, к площади поднимался полк солдат. От колонны то и дело отделялись большие автомобили красного креста и медленно выезжали во двор городского госпиталя. У людей был измученный вид. Они шли молча, с угрюмыми лицами. Не смотрели по сторонам.

Мы ждали пока они пройдут. Около нас остановилась худощавая, еще нестарая немка. Она смотрела то на проходивших солдат, то на нас, что-то взвешивая в уме; потом стала расспрашивать где мы работаем и будут ли нас эвакуировать.

— А то переходите жить к нам, мой дом в двух километрах отсюда. Знаете, около мельницы, — она показала рукой в сторону реки. — У нас уже есть один француз. — И чтобы убедить нас как нам будет славно: — Моя сестра живет с ним уже больше трех лет. Все-таки когда придут русские нам будет спокойнее с пленными... Приходите, правда, — повторила она с озабоченным и деловитым видом хлопотливой домашней хозяйки и перейдя улицу быстрой походкой вошла в мелочную лавочку.

Мы вышли на площадь. Над низкими домами и над островерхой крышей кирпичи в молчании раскрывалось пасмурное, пустое, беспредельно уходящее в высоту небо. Казалось, и

дома, и площадь, и весь город погружались в холод вдруг ставшей ощутимой вечности. И будто опьяненные этим простором неведомого, возбужденно хохотали две жирные, смазливые молодые немки, опускавшие железную штору булочной. Недалеко от них, громко разговаривая и смеясь, стояло несколько наших товарищей, работавших в городе.

Тяжелым, медленным, словно задумавшимся шагом мимо прошли, не подымая опущенных глаз, три старых рослых немца, с суровыми лицами и жилистыми морщинистыми шеями. Один был в синей, двое других в желтых шинелях с повязками фолксштурма на рукавах. По привычке к повиновению, они еще исполняли приказания начальства. Но по тому, как они шли, как будто не замечая, что всюду, хотя было рабочее время, незаконно ходят французские пленные и открыто разговаривают с немецкими женщинами, было видно и они понимали уже: кончался весь казавшийся так прочно установленным порядок жизни, и на их город надвигается неизвестное, новое и грозное.

Товарищи рассказали нам, что им велено было эвакуироваться вместе с их хозяевами, но они остались, и пока их никто не трогал. Может быть забыли в суматохе. Они надеялись переждать бой в погребе и выйти уже после того как русские займут город. Обсудив положение и напившись у них кофе, мы пошли обратно. Нужно было вернуться в госпиталь засветло.

Мы уже вышли на окраину, когда на перекрестке дорог нам встретился дозор эсесовцев. Немцы шли быстрым, мерным шагом, плотной кучей, в касках, с автоматами, с мрачными, ожесточенными лицами. Я сразу с холодным содроганием, пробежавшим по спине, увидел между ними страшно напряженные, красные, с выскакивающими из орбит глазами лица двух русских пленных. Это были Федя и Яшка. Яшка странно, как посторонний, тяжелый, бьющийся предмет придерживал правой рукой согнутую левую. У Феди все лицо было залито кровью. Он видимо был ранен в голову. Они шли как в ту-

мане, задыхаясь, было ясно: из последних сил. Особенно Федя — вот, вот упадет.

Весь трясаясь как в ознобе, я уже знал что сейчас будет. Шедший сзади немец толкнул его ладонью в спину. Федя качнулся вперед и сделал несколько падающих уторопленных шагов. Тогда другой эсесовец, с белесыми ресницами, с крепким скуластым лицом, бледнея от бессмысленной внезапной злобы, крикнул: «**Tempo!**» И подняв обеими руками карабин за дуло, изо всей силы сразмаху опустил приклад на федину спину. Федя сделал еще шаг и упал на колени. Старый немец стал бить его носком сапога в крестец, раздраженно приговаривая: «**Los Schweine**» Я слышал глухие звуки ударов и как при каждом ударе Федя стонал: «ох, ох...»

Не выдержав, я крикнул:

— Федя!

Ближайший к нам эсесовец вздрогнув обернулся и взялся за ремень автомата. Несколько мгновений он смотрел на меня измученными, невидящими глазами. Все его молодое, круглое, но страшно осунувшееся лицо пылало гневом, отчаяньем и ненавистью. Я выдержал его взгляд. Поняв, что мы французские пленные, он отвернулся.

Я видел, как нагнувшись Яшка здоровой рукой помогал Феде подняться на ноги. Патруль свернул на дорогу, ведущую в лагерь.

— Поймали их, все-таки, — сказал Шарль, и я увидел, что его бьет такая же мелкая дрожь как меня.

Мы уже прошли стоявший на косогоре старый брошенный кирпичный завод, как вдруг над нами с оглушающим ревом мотора низко пронесся русский штурмовик. Темно-синий в предвечерней ясности неба, как огромная птица мщения он навис над черепичными крышами оставшегося за пологим холмом города. Из его носовой пушки вылетело длинное трехметровое пламя, и в то же мгновение с борта понеслась прямо на нас золотая струя светящихся пуль.

Шедший впереди меня Шарль обернулся, весело, но неуверенно улыбаясь. Я видел, как он ускоряет шаги. «Может

быть лучше лечь», подумал я, но черная мерзлая земля казалась такой холодной, в окаменелых колеях стояли подернувшиеся льдом лужи. Две маленькие черные бомбы падали вниз. Штурмовик взмыл, и мы услышали в стороне вокзала грохот взрывов.

— Еще немного, и я бы уткнулся мордой в землю, — сказала Шарль со смехом.

Из соседнего домика вышла согнутая, древняя, в седых космах старуха.

— Что ж теперь будет? — спросила она у нас и заплакала.

— Не беспокойтесь, — сказал Шарль, как всегда особенно старательно выговаривая по-немецки, — русские не людоеды.

Тогда боязливо понижая голос, старуха сказала, смотря на нас с таинственным видом:

— Во всем виноват этот дьявол из Берлина. Мы, маленькие люди, не хотели войны.

Вернувшийся поздно вечером из лагеря Жан рассказал, что немцы привели в помещение охраны двух русских пленных и расстреляли их за бараками.

— Знаешь, маленький санитар, что у нас работал, и большой русский, приехавший на кухню.

На следующее утро, еще было совсем темно, нас разбудили близкие оружейные выстрелы. В комнату вошел в походном снаряжении старший унтер-офицер. С ним были солдаты, в касках, с ружьями с примкнутыми штыками. Нам дали на сборы полчаса.

Нас перевели в лагерь. Мы стояли под деревянным навесом, где раньше помещались склады и почта. Перед нами низкие бараки. На сером дождливом небе черные сучья деревьев. Мы знали: за ними, внизу, в долине лежал город. Там слышались страшные удары, словно кто-то огромный с нечеловеческой силой ломился в двери. У немцев были бледные сосредоточенные лица.

ГЕОРГИЙ РАЕВСКИЙ

1.

Ты не расторгла нашего союза,
Ты оставалась верною всегда;
Ты мне была водительницей, муза,
В суровые и темные года.

Как часто, утомленный и усталый,
Я изменял, я отступал во тьму, —
Но ты звала меня, но ты прощала
Несмысленному сыну твоему.

В стремительном дыхании непогоды,
Среди надвинувшейся темноты
Все те же песни света и свободы
Знакомым голосом мне пела ты.

И если в тесном и угрюмом круге
Могу ступать я твердо по земле, —
О, знаю я: в том нет моей заслуги,
Но это ты ведешь меня во мгле.

Н о в о с е л ь е

2.

Горсть пепла: вот все, что осталось.
Срубили, свалили, сожгли...
Как плавно оно колыхалось,
Ветвями касаясь земли.

А летними душными днями,
Когда золотистая мгла
Стояла дрожа над полями,
Как тень его молча росла.

Горсть пепла... Но светлого дыма
Так мягко бежала струя,
Так тонко и неуловимо
Ее золотились края,

Что горестных слов сожаленья
Мы в сердце найти не могли:
То не было исчезновение,
Но только уход от земли.

ОБИТЕЛЬ

Полукруглые монастырские ворота, прохлада свода, а потом сразу солнце и тишина, особенно поразительная после рыбного базара, торгующих мужиков, крика продающих мятные пряники и легонькие кресты торговков. Ветер шевелит сухой бурьян на стене. В заветрии припекает, голуби любовно шумят, говорят, целуются и воркуют на воротной башне. На деревянных мостках боевых стен кружится, топчется, раздув свой зоб, около маленькой чистенькой голубки молодой, видно справляющий свою первую весну голубок. А на сырой земле, у дорожки сидят, распевают и кланяются монастырские нищие, разложив драные шапки, мешки.

Сидят на солнцепеке под крепостной стеной. На одном из них солдатские драные штаны, а чтобы ноги не простыли, сзади толсто подбито ватой. Размочаленные лапти, бороды, кружки. Шапка положена на землю, голова лохмата, вытек глаз, щека опустилась. Кланяются тут же и Лазаря тянут, как в Святогорском монастыре при Александре Сергеевиче Пушкине, бабы побирухи, толстые от рваных полушубков и кацавей.

Ах, родители родные,
Ах, кормильцы вы, православные!
Помяни, Господи, рабов ваших,
Рабов то, родителей, во царствии небесном.
И батюшек родных!
А и матушек родных!
Ай да помяни, Господи, дедок и бабок,
Помяни, Господи, во царствии небесном.

А над нищими на Святых вратах под кокошником образ Успения, а вокруг него по стене славянская надпись:

О тебе радуется, Благодатная, всякая тварь,
Ангельский собор и человеческий род,
Освященный храм и раю словесный...



Нищая горбунья. Пристальные глаза.

— Он чисто сказал: твоя судьба принадлежит Царице Небесной. Так и пришлось: родители жили в разврате, с братьями я в ссоре. Помаялась, помаялась и ушла.



Трудно спускаться деду по обледенелому скату. Треух острием, борода седа, в руке жестяная банка для супа, а в другой — палка с крюком. Зипун рваный подпоясан по мужицки ниже пояса сыромятным ремнем. Идет на монастырскую кухню за супом.



Путь нищих, богомольцев, крестьян и царей.

Князь Курбский до измены своей, будучи юрьевским воеводой, часто наезжал в монастырь. Вел поучительные беседы с игуменном Корнилием и старцем Васьяном Муромцовым. Вот как начинал он послания:

— В пречестную обитель Пречистые Богородицы Печерского монастыря, господину старцу Васьяну Ондрей Курбьской радоватися...

Сохранилось письмецо его, посланное кому-то после измены.

«Вымите Бога ради, положено писание под печью, страха ради смертного, а писано в Печеры, одно в столбцах, а другое в тетраях, а положено под печью в избушке в моей, в малой, писано дело государское. И вы то отошлите любо к государю, а любо ко Пречистой в Печеры...»

В монастырь он писал и будучи в бегах, с неизвестной дороги, и не имея от иноков помощи, слал старцу Васьяну эмигрантские упреки, жалуясь о том, что посылал к игумну и к Васьяну человека своего бить челом (очевидно из-за рубежа) «о потребных животу», и по недостойнству своему от них презрен бых, а вины своей явной не видит.

Вот тогда, в те годы воздвигалась прекрасная церковь Николы Ратного над Святыми вратами, которой любовался Рерих, о которой в истории русского искусства писал академик Игорь Грабарь, которую мне пришлось в 1935 году реставрировать с артелью мастеров каменного дела, с рыжебородыми старообрядцами из посада Черного, что на озере Великом Чудском. А строителем ее был воевода Заболоцкой, взявший немецкую Нарву. Это перед ним отворились замковые ворота, опустился подъемный мост, и ливонские парламентарии направились сдаваться к нему, царскому воеводе. Это он позволил осажденным выйти из Нарвы, взяв с собой все, что они будут в состоянии увезти, это он именем царя Иоанна великодушно обещал покидавшим замок охрану, которая будет их оберегать при прохождении через весь русский лагерь. Те не верили и боялись. Тогда он приказал подать ему воды и, умывшись, приложился к образу и сказал, что исполнит свое обещание. Стоя на холме при зареве пожара, он смотрел, как началось шествие ливонцев через опустошенный, выгоревший, разбитый ядрами город. В Печерском монастыре потом он принял постриг и в Успенских пещерах погребен, как смиренный инок Пафнутий.

В те далекие времена, когда горела Ливония, в боровом овраге хоронился бревенчатый монастырек, а около него лепились срубленные как баньки кельи. Селиться в порубежных местах было страшно. Не раз враги жгли церкви, а братию высекали. Это во время ливонской войны на подаяния и жертвы уходивших в бой ратных людей, иноки возвели каменные церкви, башни и стены, и около обители родился посад, а на посаде дворец на приезд царя Иоанна и храм Сорока Мучеников, глава крыта чешуей, на деревянной звоничке

два колокола зазвонных, два прибойных, да клепало железное, — тогда тут раскинулся торг, двор гостинный, важня и избы пушкарей, стрельцов, беглецов из-за ливонского рубежа, просящих старцев и вдов, калек, разоренных после воинских осад мужиков — слепых, озябших в литовский приход, помороженных и увечных.

Строилась стрелецкая церковь во имя Николы Ратного в тот год, когда воевал за монастырским рубежом князь Василий Серебряный, и зимой в великий пост приходили литовские люди; строилась она в ту весну, когда, изменив царю, изменил народу князь Андрей Курбский, чтобы в рядах литовской рати притти на Русь воевать — ведь он видел потом, литовский конный князь и боярин, как пылали подожженные литовскими татарами русские села. Вот тогда, в те ратные года свершена бысть церковь каменная в Печерстем монастыре на острожных воротах во имя Николы Ратна — в одной руке у чудотворца Дитинец, а в другой оберегающий рубежи меч.

Царь Иван Васильевич с братом Юрием из Новгорода заезжал в Псков в декабре 1547 года, а оттуда в Печеры. Пожаловал царь обитель золотом, жемчугами. В древних синодиках я нашел записи: государь царь и великий князь иван васильевич всеа руси велел поминать си князей и бояр 75 душ, а память по ним творить в 30 день июня. Также приказал царь поминать имена опальных людей, которые побиты — с присными их — «и сноху, и его мать, и жену, и детей, и татарина, и брата его». И в Озерецком на заказе от Москвы побитых и наемни побитых пскович. И людей с Нова Града. И баб новоградских. И тех, что в коломенских селах от Григория Ловчикова побиты, трех по руки отсеченных. В Голубине оугле побитых от Малюты Скуратова.

Много потом пережил монастырь. Выдержал осаду Батория, удары венгерских пушек, штурм Кетлера и Тизенгаузе-на; набеги воров, лисовчиков и пана Хоткевича.

Обитые кованым железом ворота хранят вмятые углубления от шведских пуль, следы от ударов секирами.

Это голова стрелецкий Григорий Захарьев сын Вельяшев со своими ребятами оборонял монастырь в марте 1656 года. Бой начался в седьмом часу ночи. Бились сначала за монастырем и не дали посада зажечь, в четырехчасовом бою отстояли государеву пороховую и свинцовую казну, но вражеских сил было много, и Григория со стрельцами от монастыря отогнали, и городовые Святые ворота враги начали высекать, и он, Григорий, прося у Всемилоственного Бога, у Пречистой Богородицы и у московских чудотворцев помощи, шведов от монастыря отбил и языков поймал. В этом бою бился явственно и на том бою убит пятисотный дьячек Васька Самсонов; знаменщик головы стрелецкого Федотько Петров бился явственно и в том бою был ранен шпагой; Шишкина ранили из мушкета; Коновницын Иван убил двух шведских мужиков, и атаман Василий Евстафьев мужика убил. Утром погнали шведов к Новгородку, где они соединились с графом Магнусом де ла Гарди, но Данила Беклемишев с рейтарским полком и четырьмя сотнями псковичей при деревне Мегузице графа Магнуса помощью московских и псковских чудотворцев побил и дальше погнал.

Государь Петр, отправляясь в 1697 году в Европу, в Печерском монастыре захватил себе на дорожку муки и псковских ржаных сухарей по 25 четвертей, а в июле 1701 года опять показался тут и у ворот своими руками заложил батарею, обнес обитель ровом и валом с пятью бастионами и за плохую работу высек на валах подполковника Шеншина.



Хорошо по утрам. Тень, прохлада, выбеленные до голубизны своды, вырастающая из этой голубизны звонница. Еще держится в монастырском овраге мороз, еще слышен звон ручья под тонким за ночь образовавшимся льдом, а за монастырем, на полях уже полное солнце, разошлась черная дорожная грязь, и рыжая лохматая крестьянская кобылка как-то по-весеннему неловко тянет за собой сани, что скрипят полозьями по обнажившейся местами земле.

Ручей бежит по оврагу, то в солнце, то в синей снежной тени, и воздух, захваченный течением воды, бежит под тонким льдом гроздьями, пузырями.



— Да, звон здесь красивый, — говорит, вынимая из веревочного стремени ногу и относя за звонницу канат, что приводит в движение колокольное коромысло, полуслепой, худой и высокий звонарь, с выбившимися из-под острой шапки полуседыми кудрями.

Я слушаю, как широкая у земли, но устремленная к небу легчайшей стрелой большая звонница, вся, от креста до подошвы, гудит от разливающейся по ней волнами дрожи.

— Этот, большой полиелейный, — показывает старик, — лучше он всех. Второй-то — неважный, звук носовой, наподобие того, как человек в нос говорит. Повседневный — тоже хороший звук, сиповатый — маленькая пленочка отлещетела меди, он и дает слегка сиповатость. А звонцы, что в пролетах висят, — очень приятные звуки, разного времени и разных царей, в разное время даривали — тут и Ивана Грозного, и ливонские пленные, есть немчины — вон тот русским князем с Феллина из замка немецкого прислан в подарок, он с серебром; и Годуновские, и Петровские есть, зверьками, — разных времен, случалось жертвовали цари, и бояре, и простой народ копейку давал. А полный трезвон если сделать, то впятером надо звонить — двум с земли, а трем ребятам на ризницу, значит, надо забраться.

Вместе с ним я поднимаюсь по деревянной лестнице внутрь звонницы, где в малой древней, упраздненной сто лет назад сводчатой церкви он и живет с слепым, тишайшим вторым звонарем и пушистым котом, где натоплено, сыро и душно, как в бане.

— Стены то в толщину без малого три аршина, — говорит он. — Приходится топить усиленно, часто. Дикий камень сырость дает, и притом сырость вредную. Переспав тут другой встанет прямо с шальной головой.

В его ведении находятся и часы с колоколами и пере-
часиями, заключенные в бревенчатый сруб, стоящий на звон-
ничном плече. От железных механизмов и зубчатых колес
спускаются в пролет бочки с камнями. За ежедневный завод
этих часов звонари получают тройную порцию монастыр-
ского хлеба.

— Завод с треском, — показывая мне механизм говорит
он, — надо вздохнуть как следует, чтобы их завести. Они
немного идут полегче, когда мороз-то спадает. Вот скоро
будут бить. Мы стоим до ударов. Колокола вообще при-
ятного звука. Их раньше при монастыре, в земле лили: роется
яма, сплав расплавляют, серебро льется, когда сплав засты-
вает медный, а если раньше влить серебро в медь, то оно и
сгореть может. Эти маленькие, — показал он, — переборы.
Тоненький звук. Большие то правильно висят, а вот млад-
шие перепутали. Украли три колокольчика во время разрухи.
Полный часовой бой был красивый, а теперь они в разбивку
висят. В прежнее время наблюдение было в порядке. А тут
само собой все постепенно на упадок пошло. Вот были во
Пскове в Вознесенском монастыре колокола единые и торже-
ственные. Повесь в ту партию не тот колокол, как борона бу-
дет он бороться особым ведь гулом.



— Вы поживите, поживите у нас, — говорит мне разме-
тающий дорожку Лаврентий, а штаны у него бархатные, ши-
рокие, он старенький, сухенький, жилистый, горячеглазый,
из-под остренькой чистой камилавки заплетенная полуседея
косенка торчит.



Ангел изображен на звоннице раскинувшим черные
крылья. Левой рукой указывает на башенные часы, в правой
держит испещренный письменами развернутый свиток.

Взирай с прилежанием тленный человеце,
Како век твой проходит и смерть недалече.
Готовися на всяк час, рыдай со слезами,
Яко смерть тя восхитит с твоими делами.
Ангел твой хранитель тебе известует,
Краткость жизни твоя перстом показывает.
Текут времена и лета во мгновение ока,
Солнце скоро шествует к западу с востока.
Содержай меч мщения во своей деснице,
Увещает тя всегда и глаголет сице.
Убойся сего меча, отседе покаяся,
Да не посетит тебе, зело ужасайся.
Придите, людие, в вере-просвещении,
Грядите во святой храм кротцы и смиреннии.



А в покоях у владыки благодушие, хорошо вымыты крашенные полы, ровно лежат цветные дорожки. В солнечной угловой комнате на полу свалены книги. Четыи-Минеи, рукописи восемнадцатого века, оставшиеся от прежних владык, а среди них, переплетенные в деревянные, обтянутые черной потрескавшейся кожей переплеты с медными на сыромятных ремешках застежками и жучками, служебники с изумительными заставками, расцвеченными золотом, прозеленью и кинноварью. Тогда в одном из рукописных сборников я нашел древний вариант Слова о погибели Русской Земли, а среди переписанных книг — служебник времен вечевых с молитвами о посадниках псковских и новгородских степенных, о соборе Святые Троицы и Святые Софии и о всех людях пскович, — книгу Мисюреву — государева дьяка, что при Иване Третьем, когда принаровские мужики возводили башни Иван-Города, опекал монастырь. Мисюрь Мунехин, который переписывался с философами и звездочетами, кому старец из захороненного в смолистом бору у берега Псковского озера Елизарова монастыря написал знаменитое послание о

Третьем Риме. Здесь лежали большие, разбухшие, закапанные воском синодики с именами князей, бояр и воевавших Ливонии ратных людей, и рукописная тетрадь голубоватой бумаги, в которой гусиными перьями было вписано как, когда и почему надо совершать крестные ходы, — в память каких боев и осад они утверждены, на каких местах крови, у каких проломов и башен надо служить литии; тут лежали и книги времен Алексея Михайловича, писанные на рыцарской бумаге с водяными знаками — я рассматривал на солнечный свет страницы и видел головы кнехтов, папские ключи, короны, вставших друг против друга единорогов, головы шутов в колпаках с бубенцами. Я читал испещренные рыжеватыми и уже выгоревшими чернилами страницы — описание боевых мостов, башен, церквей, колоколов, медоварен и квасоварен, пушечного наряда, перечисление сложенных под Никольской церковью в оружейной палатке пик, луков, колчанов и лат, корыт с нарубленным свинцом, затинных пищалей, и монастырский каменный город оживал, и древняя жизнь, с которой я оказался таинственно связан, расцветая, раскрывалась предо мной. И когда я вышел на вольное солнце, то уже по иному чувствовал и видел выдержавшую осаду обитель, закованный в боевые стены монашеский, крестьянский и воинский стан.



Целые дни я занят — осматриваю колокольни, стены, башни, старые погреба и всюду делаю радостные находки. Вот заброшенная на чердак шитая шелками древняя воинская хоругвь цвета увядающих розовых листьев; вот большая икона времен Алексея Михайловича с тонким рисунком башен, с бревенчатыми кельями, квасоварнями, золотыми как пшеничный колос главами, с малыми колокольчиками на большой и малой звонницах, заброшенная, покрытая слоем известкового голубиного помета, который для истории русского зодчества рисунок неизвестного иконописца и сохранил. Владыка

мне доверил ключи от Никольской церкви, а из стрелецкой церкви Николы Ратна проржавевшая железная дверь ведет через темную, с замурованными бойницами острожную башню с прогнившим полом на крепостную стену, где еще чудом сохранились деревянные мосты, с которых оборонявшие обитель иноки и стрельцы когда-то били по люльским вора и шведским рейтарам из затинных пищалей. Мосты ведут к сторожевой башне, что господствует над Святыми воротами. Я радуюсь солнцу, ветру, как ребенок. Меня уже полонило древнее очарование; свободно и легко я живу в тех веках. Я открываю малую дверь, пугаю голубей, которые с незапамятных времен живут в этой башне, ибо и настил, и перекрещивающиеся балки покрыты столь толстым пометом, что от него тут тесно, душно, тепло. Здесь много голубиных гнезд, здесь веками справляют свою любовь голубиные пары, самки кладут по два яичка. Отсюда делают вылет окрепшие молодые птенцы. По узенькой лестнице я поднимаюсь наверх, вылезаю через люк на обнесенное перилами стрелецкое дозорное место. Воля-то какая на весеннем ветру! Отсюда виден весь окруженный то поднимающимися на холмы, то спускающимися в овраг ручья Каменца стенами, проростающий словно с озерного дна дубовыми ветвями и куполами, монастырский каменный город, отсюда виден пригород и поля, дорога, ведущая в голубые боры на Ливонию, боевая дорога походов. Здесь раньше была сторожевая вышка носивших лазоревый кафтан монастырских стрельцов. Здесь, как всегда, настороже дует весенний ветер, принося запах воли, талого снега, наполненных предвесенней горечью, оживающих далеких лесов. Здесь хорошо и крепко думается.

И я вижу: строят каменный город. Становище. Мужичьи сани. Валуны свозят с окрестных полей, плиты обозами везут из Изборска. Дымят костры. Рати идут на Литву. В далекие боры утекает усеянная курганами, политая кровью дорога, уходит туда, где в борах, закрывая славянский путь к Варяжскому морю, стоит передовой немецкий форпост, выдвинутое немцами при движении на восток волчье гнездо, новый горо-

док ливонский — замок Нейгаузен. Там теперь высятся развалины над рекой Пимжей, поросшие елями провалившиеся сводчатые погребы, но на уцелевшей башне еще сохранились выложенные рыцарями в рыжем кирпиче белые орденские кресты. В Иванов день эстонская молодежь на развалинах зажигает костры, плетет венки и поет яновы песни. Весной там все бело от чистого цвета разросшейся на немецком пепле черемухи. Там на блестящем, черном, только что вспаханном поле я видел с гимназистом Васей Титовым выпашанные крестьянским плугом желтые ливонские черепа. На русской стороне, на холме, на котором стояли разбившие замок пушки Адашева и князя Серебряного, где был боевой русский стан, ранней весной я отдыхал с моим молодым печерским помощником Васей Титовым. Мы сидели на пнях, а потом пили сладкую соковицу, что заливала подсеченные эстонскими пастухами деревья, по очереди прижимаясь губами к белой шелушистой коре, пили сладкий, прохладный, рожденный древней землей березовый сок, и над нами вились, желая к сладкой бересте поскорее прильнуть, осы и пчелы. Потом Вася, знавший сетский язык, помогал мне расспрашивать столетнюю сетку в белом кафтане, и она, рассказывая, высохшей рукой показывала нам, где стояли обозы Грозного, мужики пекли хлеб, где павших на рати похоронили; со слов стариков она нам рассказала о том, как из новгородчины приходили русские женщины плакать на эти могилы. Тогда Вася на вспаханном поле нашел каменное ядро, помню, как он очищал его от влажной, перемешанной с пеплом земли и звал меня итти ночевать к нему в деревню Воронкино, что недалеко от Мегузиц, под которыми стрелецкий голова разбил графа Магнуса де ла Гарди, звал, соблазняя крупной подснежной клюквой, которой были осыпаны его родные болота, но времени у нас было мало, и мы, присев у избы чундинки, с наслаждением похлебав деревянными ложками принесенной с погреба холодной простокваши, плотно заправившись ржаным свежим хлебом, отправились в Тайловский бор.



Тут в порубежных борах с незапамятных времен висели пчелиные борти. Еще псковское вече и изборяне брали с жившей в борах чуди, установленную Ярославом Мудрым, медовую дань. Ливонцы с мечом и католической проповедью, дойдя до реки Пимжи и построив Нейгаузен, захватили большую часть заросшего медоносным вереском бора, из-за которого особенно яростная началась у них война с изборянами и псковичами. Это потом уже немцы, установив по реке Пимже границу, чтобы обеспечить себя от набегов, стали платить псковичам ежегодную дань — пять пудов меду Собору Живоначальной. Осенью 1557 года, вспомнив медовую дань Ярослава и расширив требования, выбивая незваных гостей, двинул Грозный войска на Ливонию.



С монастырских, побитых венгерскими, польскими и шведскими ядрами стен, под дующим с Руси ветром я часами любовался широкой далью, и глаз не мог отвести от утекающих в снежные поля дорог, любовался великим русским небом с медленно тающими облаками, широким и печальным снежным раздольем, синеющими по горизонту лесами. От ветра, грусти, любви, от приливающих чувств влажными становились глаза, и все было для меня родным и понятным, словно сердце всегда жило здесь, и я со всеми отошедшими жил по сыновьи.



Как ежи лежат леса по холмам. Снега блестят, Нейгаузские леса в голубоватом весеннем тумане. На крепостной стене припекает. Целый день слышен гул голосов, долго не разъезжающегося великопостного стана. В монастырском саду побелены яблони: розовыми кажутся их стволы, а в садовых ямах лежит снег, как белое кружево. Он сползает с пологих крыш монастырских конюшен. Утром ручьи чуть слышно

начинают звенеть, а к обеду, Боже мой, всюду веселый говор, и петухи шалеют от света.

Весна, весна красная. Сияющее небо, запах лесов и земли. Промороженный за зиму камень стен и церковей начинает на солнце дышать, а вдали теплые избы посада.

Молодой инок на Святой горе под вечер, когда солнце уже опускалось, слушая шум посада, тихо мне говорил:

— Плакал я, когда постригали, ведь молодой, старому-то ничего, жизнь прожил. В одной рубаше, и подрясничек накинута. Владыка на амвоне, а монахи встречают, поют. Нужно лечь на пол ничком — распинаться. А я в одной рубашке. И монахи черными ризами меня закрывают.

Розовела звонница, искристым золотом излучаясь, дрожали под горою кресты.

— Вот весной тяжело, — продолжал он, — взойдешь на Святую гору, а вдали всюду по раздолью песни поют. Сирень цветет, от березы запах. Так-то грустно на сердце. Хорошо если выйдешь вдвоем, с другом поговоришь, а одному тяжело.

— Ох, сильно журжит весной поток.



Стоял светел месяц перед красным солнышком —
Стоял князь молодой перед родным батюшкой.
«Мой родной батюшка, прости и благослови,
В путь дорожку отпусти, хлебом-солью надели.
Ко суду Божью итти — страшным-страшненько.
На крутой крылец итти — скоры ножки ломаются,
У злата венца стоять — сердце ужахнется».

Так напевала мне в богадельне старуха Мария Вторушина, вдова рыбака, что с пятнадцати лет ходила с дружиной на ловлю, умела править парусом и грести. Напевала со слезами в бревенчатой нищей избе, в которой было светло от тающего на улице снега, напевала, вспоминая молодость, золотые слова городищенской свадьбы.

На лугу кони попущены,
Шелковыми путами попутаны,
Не едят кони зеленой травы,
Что не пьют кони холодной воды,
Они слышат путь-дороженьку.
По дороженьке не пыль пылит,
Во цистом поле не дым дымит,
Там не царь с царем соезжаются,
Соезжается Иван, соезжается Васильевич
Со своим веселым поездом,
Со своей белой лебедушкой,
С Катериною со Лаврентьевной.

Уплыли, уплыли серые гуси, на море уплыли,
Увезли, увезли нашу похвальную, увезли,
Увезли, увезли молодую без даров, через десять
 городов.
Во Божью церковь свели, русу косу расплели,
На шесть прядок разняли, вокруг головки убняли и
 своею назвали.

Помаленьку, бояре, с горы спускайтесь.
У нас горы крутые, у вас кони добрые,
Не поткнулся бы конь вороной,
Не свалился бы князь молодой.



— Тут сынок, — сказал дед, — кругом были глухие леса, звероловцы ходили. Это потом к монастырю люди стали переселяться. Избенки монашеские были бревенчатые, луковые окна изнутри дощечками задвигались. Окон было мало, зато свет был дорог. Милый, — бедные были. Другой монах мешок летом носил на плечах. Все были трудники. И игумен косил и пахал. Церкви справляли — сами хломали топором.

Вот как было! Ну, и скоро прославились. Издалеча начал народ приходить. А трудно было найти. Блуждали, спрашивали — где тут пещеры, монастырь называется. А кругом — чистый лес. Пни дубы, лешие яблони. Только на Пачковке жил бобылек. Мельница была у него, и припор воду держал. А этот ручей был пнями завален. Не монастырь, а овраг. Боже, Боже! До монастыря только в Тайлове жительство было.

— И вот, сынок, старики рассказывали, Царица Небесная бором тайловским шла, искала приюта. Шла Царица Небесная, хотела остановиться в Тайлове, да петуны стали петь. Не понравилось Матери Божьей. Там было строение, петуны стали петь, а Ей слышно. Вот здесь, в Печерах, Ей уподобилось.

— Да, — помолчав, сказал он, — вот Матерь Божья в Тайлове хотела остановиться, на круче, да ушла дальше.

— А потом звероловцу на дубу Ее икона явилась. Охотник ходил. Нашел овраг в деревьях, весь ветрами завален. Слышит ангелы поют, видит, дерево-дуб, и на дубу ему икона открылась.

— И вот, матери-отцы говорили: молитесь Царице Небесной, не будет ни мора, ни глада. В Ильин день была холера. Помогла.

— Вот, детки мои, в военное время так Она спасала, так Она покрывала. Шла, заступница, и все за ней с плачем. И-и вой какой был.

— А во время боев наши старики в монастырских пещерах спасались. Мужики отбивались, а у баб там печурки были нарыты. В монастыре столько народу набилось, — и стон, и крик, и от голода помирали, и от давки. Где икона, там проломанная стена, там много народу положено. На стене бились — топорами тогда мужики отрубались.

— А когда Корнилий ограду наносил, то народ нанимал, и была обозначена цена — двадцать пять алтын. С Изборска возили плиту, а деньги были кучей нарыты здесь, где Спаситель в проходе... Вот какая бывала святость, — другой полу

Н о в о с е л ь е

денег награвит, а выйдет за ворота, все двадцать пять алтын. Кто наладет камней много, а сам на худой лошаденке — все лошади легче. А другой наладет совсем мало, так лошади совсем тяжело — воротись назад и побольше возьми. Хороший мужик так по сенному возу возил. Вот преподобный Корнилий! Матерь Божия строила и преподобный Корнилий.

— Милый, без этой стены пропал бы народ. Выбили бы всех, полонили.

— А скоро, сынок, опять будет война, — сказал потом он. — Антихрист на Россию пойдет.

— Пойдет Антихрист, будет народы к себе преклонять, к перстам печати прикладывать. Дай крови печать. Вот наберет всюду войско и начнет битву во Пскове. Никола Угодник выедет и Илья Пророк. В Троицком соборе лежат святые князья, и те тогда встанут. Гавриил и Тимофей, и Олександра Невский встанут за нашу землю. Загрузится тогда река Великая войском. Погоди, — говорил дед Оленин, — скоро на разливе огненные кони заржут. Понесутся, полетят с захода огненные птицы, дубовые носы, полетят огненные кони, народ все туманный.



Церковь Пречистые Богородицы Успения вырезана на горе, алтарь — на летний восход солнца. И за алтарем погребены отошедших братий тела — игумнов, строителей, трудников и богомольцев. В больших братских пещерах кладена печерская братия — несть числа.

А по Святой горе, на церквах, над алтарем, пещерами, когда-то рос лес, возвещая о жизни, роща березовая, яблони, дубы и рябины.



Вечер. Лампада мерцает под воротными сводами. Дубы и яблони растут на Святой горе, а под деревьями и под главами

Успения - братские усыпальницы, дубовые колоды, истлевшая парча, кости, гробы, дух древнего несмрадного тления — песок в глубине пещер закончен свечами и везде на стенах — спящие комары. И под Лазаревской церковью под землею скудельница.

А под куполами Успения громадные, сложенные из хвороста, нанесенного сюда галками, гнезда. Здесь странно ночью при мерцании восковых свечей — песок буграми, стропила, балки. Шатрами над головой вздымаются полые, мохнатые от гнезд, перекрещенные сосновыми брусьями, утвержденные на столбах купола. Обитая железом церковная крыша вросла в древний дуб, из песка торчат обросшие мхом валуны, бревна упираются в землю, а церковь там, глубоко под землей.



В пещерах, у мест упокоения ратных, вставлены керамида. Они облиты зеленой глазурью, украшены крестами и травами, иные тронуты воском и киноварью.

Широко горела восковая свеча. Стыли руки. Я читал имена государевых бояр, воевод, псковских гостей, детей боярских, привезенных в дубовых колодах с бранного поля, положенных в Дом Пречистой, в Печерах, убиенных на царской службе, на рати, от немец ливонских, павших на рубеже — имена ближних стольников и ратных людей из Пскова, Москвы, Полоцка, Ржева, Торопца, Новгорода и Шелонской пятины. Погибших в сече под Колыванью, под Юрьевым, на вылазках и на осадах. Павших в Смутное время во Пскове в мирносицкую вылазку. Проливших кровь за Свейским рубежом. Скончавшихся за рекою Самарою, в Конских Водах, на службе в Крымском походе. Жизнь свою положивших под Нов-Городком Ливонским Нейгаузенем и на Печерской земле.

Вот могила:

Петр Степанов Пушкин — убит от безбожных немец под Ельмано в 7083 году, а неподалеку от него в те же времена положен и раб Божий **Иван Петрович Мусорской**.

Вот где роды их сошлись.



Сырость, промозглый хлад. Сперва с живого морозца кажется что спокойно, тепло, но постепенно, по мере того как время идет, начинает прохватывать одежду и тело пещерный холод, отнимая животную теплоту, ничего не давая взамен — здесь все глухо, переход за переходом, улицы подземные расходятся направо-налево, в крепкие песчаные стены вмурованы блестящие поливою доски с выпуклыми славянскими датами и письменами, с перечислением имен, городов, ровно и бестрепетно горит свеча, под землею нет времени, глух человеческий голос. Видно дыхание. У владыки побледневшее со сверкающими глазами лицо. Он протянул руку в оставленное в замурованной стене окошечко, и свет упал на груды дубовых колод, сосновых гробов, взгроможденных до сводов. Это старая братская усыпальница, — в колодах безымянные иноки лежат с кирпичом под черепом, а в пещерных улицах — власти земные. И их память хранят, по иконописному сработанные в монастыре, завитые славянским плетением и церковными главами, керамиды, закрывающие узкие, ископанные в красном песчанике норы, в которые вдвинуты привезенные с бранного поля гробы.

А по выходе из пещерной сырости на морозную волю ветер с запахом подмерзшего снега охватывает и внезапно пьянит, над головой разверзается небо, и живая чистота его, не зная предела, властно и великолепно течет.

У владыки стол давно уже накрыт, и на нем для гостя поставлена и водочка в графине, и черничное вино, и натертая редька, и соленые грузди, и прекрасно зажаренный, пойманный в Псковском озере жирный лещ. Мы ужинаем. Вася Титов, прислуживавший тогда нам печерский гимназист, живший как келейник у владыки в покоях, широколицый и веселый, слушал нашу беседу. Помню, как он, оживленный, провожал меня до крыльца, уславливаясь об утрённом походе на Куничину гору. Думал ли я, что этот деревенский мальчик, помогавший мне осматривать монастырские чердаки, побы-

вавший со мною весной под Нейгаузенем, через несколько лет будет драться в этих лесах против немцев в рядах партизан. Я помню, как его бабка, угощая меня в деревне Воронкино, кроила крупными ломтями хлеб, прижав каравай к старушечей тощей груди. Вася Титов. Он, раненый, был взят немцами в плен и, как советский партизан, ими расстрелян. Бледный, простоволосый, советский лейтенант Василий Титов мужественно встретил смерть, стоя под наведенными на него дулами немецких винтовок.

В тот вечер кругом все было мирно, да и кто мог поверить тогда, что через несколько лет запыхают села и города, что на юге Франции я встречу пригнанных немцами прямо из Гатчины советских военнопленных из-под Новгорода, Нарвы и Пскова, которые по вечерам, забегая ко мне слушать московское радио, расскажут о боях на Волхове, на Великой. Разве можно поверить, что на Монт Сен-Валерьен немцами будет расстрелян Борис Дикой, с которым мы собирали под Печерами старинные вышивки и под Лезгами ночью, смеясь, купались в Абдехе, а разрывом немецкой бомбы в Белграде будет убита участница наших экспедиционных работ Ирина Окунева, доктор Карлова университета, что с мешком за плечами бродила по дорогам Изборского края.



Монастырь давно спит. Небо удивительной чистоты, но блеск звезд уже смягчен весною. Подмораживает. Бледно светят главы пещерного храма. Юродивый, стоя посреди двора на снегу, крестится на собор, на вершины деревьев, небо, звезды, а потом внезапно падает, кладет земной поклон. Снова заносит крестное знамение, смотрит на свои крепко сложенные персты, словно заколдовывая их своей тайной взволнованной силой и снова крестится и падает на колени, вернее, не на колени, а по старинному — руками вперед, челом в снег. Кругом никого нет, монастырь замер, братия спит, спят звонари. Вот ударил часовой колокол — какая

древность, какой великой торжественности и печали падает звук и, падая, не умирает, а медленно стекает с колокольных краев, мягко расходясь, заполняя закрытый крепостными стенами овраг. Потом мелкие колокола неторопливо бьют перечасие. И в монастырской тишине, во сне и покое церквей и пещерных могил вздымаются громадные деревья, простирающие к свету звезд свои чистые голые ветви. Как незабываемый ночной воздух, как таинственно и чудно на монастырских полях. Там крепко спят деревни, и пустынная дорога ведет к Новому Городку, к Нейгаузену, та дорога, по которой проходили псковские войска, шел Грозный. Это было недавно, думал я, глядя на небо, не изменившееся с тех пор, ибо то же небо стояло над вершинами сосновых боров, когда тут не было ни монастыря, ни человека и только лесные деревья падали в излюбленный зверями овраг, где протекали воды малого, но светлого ручья Каменца, где у подножья дерев видны были песчаные осыпи с темными впадинами пещер, когда-то вымытых древними подземными реками.



В том садике, под пышною оливой
С причудливою ямочкой в стволе
Расплывшемся, в 'полудня час ленивый,
На самодельном, крашеном столе
Дымился суп. Вокруг бродили куры,
Привязанная плакала коза.
Весенний день, то солнечный, то хмурый,
Прищуривал неяркие глаза.
И старичек с небритыми щеками,
С разорванным коленом и локтем,
Чей нос российский проплывал пред нами
Мясистой сливой, топотал кругом.
И было столько доброты и мира
В его мужицких северных чертах,
В гостеприимстве нищего и в сиром
Обеде, что варился впопыхах.
Он говорил о скучном и обычном:
О пасеке, о курах, о скоте,
Он сам не знал, душою непривычной
К высокому, об этой доброте
Наследственной, и все ж необычайной...
Он хлопотал, вино в стаканы лил...
И мнилось мне, — за трапезой случайной
Нас Виноградарь добрый посетил.

РОДНОЕ

С дороги утомились. Ночевали в избе у солдатки. Я — на полатах. Поднялись рано. Спустил ноги с полатей, потянулся, скакнул вниз. Перед открытым зевом огромной печи хозяйка ухватом запихивает горшки.

На крыльце пахнула предутренняя свежесть. Кидается навстречу Шарик, повизгивая с восторгом. Сжимаю ему морду, и он смешно ворочает довольными глазами, крутя хвостом. С крыльца вижу улицу, в избах красные огни — топят печи, из труб валит дым.

На дворе перед тарантасом Василий. Подсунул жердь под заднюю ось, конец на дуге, — смазывает втулку колеса. Из черноты навеса вываливается с ночлега хромой белый гусь и идет вразвалку к воротам. На цепи Волчок, — немного нелюдим; хочу приласкать, зарычал, потом визжит и, — растроганный, — уползает в конуру: там запрятана десять раз обглоданная кость.

Небо, — бисерная пыль; висит в воздухе дождик как густой туман. У коровника, там, где дверь не доходит на добрую четверть, шумно дохнуло, — это корова: не принесли ли ей пойло?

Справив дела, льем, обжигаясь, чай. Стекла в окнах уже не синие, как рисуют в театрах, а серые, потом стало видно, — оживает улица. Золушка, в белой холщевой рубаше, смешные косички, вся в веснушках, глаза кипучая синь, хворостинной гонит на выгон телушку. Из ворот напротив выходит мальчонка, задирает по губы рубаху, не совестится. Волос у него льняной, нос пуговкой.

Наискось, с визгом медленно растворяются ворота, и в щель протискивается нетерпеливо корова, обдирая себе бока

— недаром на столбах у ворот ключья то рыжей, то черной шести.

Почаевничали, вышли с Василием на крыльцо покурить. Затягиваемся синим дымом. Василий чиркает через зубы, потом плюет на остаток цыгарки, бросает наземь, растирает ногой.

— Прохлождаться, однако, довольно — скоро и день.

Он идет к конюшне и выходит нагруженный с головой хомутами, постромками, а сзади по земле тянется ремень с вальком для пристяжной. Нагнувшись, дает валиться всей поклаже наземь, выбирает из кучи узду и идет опять на конюшню. Ведет карюю лошадь, и, пока прилаживается накинуть узду, держит за чолку. Потом взнуздывает: лошадь оскаливает зубы-каштаны, но не разжимает. Василий, пальцами, сбоку, раздвигает ей челюсти. Карий, будто смакуя, пережевывает, согревая холодное железо удил теплым мясистым языком. А если накинуть хомут, задирает башку в поднебесье. То же, когда надо заправить шлею под хвост: кочерыжка хвоста как приклеенная. Потом, когда Карего пятить, заводя в оглобли, нарочно оставит то одну, то другую ногу снаружи оглобли, пока Василий, обозленный, не заорет и не замахнется кулаком, будто зуботычину дать.

Иду через темный обветшалый навес, где телеги, к огороду и речке. Через дыры в рыжей сгнившей соломе намета, — там гомозятся воробьи, — скатываются капли дождя. Возжусь с ветхой калиткой, что ведет в огород, и когда, наконец, отворяю, вперед хитро проскальзывает Шарик.

Огород осенний, пустой. В грядах торчат высокие черные прутья, перепутанные засохшим горохом, валяется завядшая ботва моркови и репы, выступают из земли одеревенелые кочерыжки срезанной капусты, стволы обезглавленных подсолнухов; на одной гряде еще желтеют огурцы, выглядывая из-под шершавых зубчатых листьев.

Шарик украсился репейником — колючие шишки вырвешь теперь только с шерстью. Перейдя огород, одолеваю

стену крапивы и шагаю через обрушенную изгородь, стараясь не попасть в капкан жердей, скрытых в траве.

Оказываюсь сразу на яру. Внизу плещется маленькая речка. По колено в воде стоит лошаденка; повеся голову, лениво обмахивается мокрым хвостом — заставили лечить водой опухшие бабки.

На берегу старый дед с удочкой далеко забрасывает леску и пристально следит за поплавком. Рядом белоголовый мальчонка — кипарисовый крестик на открытой шее — держит в шапке червей. Сейчас, на заре, начнется самый клёв.

На песчаной отмели суетятся кулики. Шарик, на цыпочках, подбирается и, когда вспархивают, с лаем за ними вдогонку. С шумом проносится стая чирков, — сборы к отлету, — слышно, за поворотом плюхнулись в воду.

Сажусь. Тут же и Шарик, сует под руку теплую морду. Вижу, как пыркнул дед удочкой, а чебак сорвался, только блеснул серебром над зеленой водой. Дед тянется к внуку, выбирает червяка, положил себе на ладонь, прихлопнул другою, насаживает на крючек, поплевал на червя и опять забрасывает удочку. И опять тишина, все недвижно. Моя рука падает на мохнатый затылок Шарика, и он замирает, боясь шевельнуться — обрадованное лаской животное.

Когда вернулись на двор, лошади уж запряжены. Василий в армяке, за кушаком кнут, прикручивает веревкой чемодан к задку. Подбросили свежего сена в тарантас, сверху половик и плед, в спину положили подушки, одна на другую. Забираю в избе корзинку-погребец, надел пальто, сверху пыльник, взбираюсь в тарантас и, уминая под собой сено, прилаживаю половчей подушки.

Василий еще немного хлопочет около запряжки. Подтянул повод у дуги, чтобы коренник не вешал голову, поправил сердито шлею на пристяжной, дернул так, что вся качнулась набок. Лошади насупились, коренник тряхнул шеей, и колокольчики — валдайские — весело звякнули.

Василий берет второй армяк, складывает бережно, кладет

на сиденье и туда же, под себя, засовывает кнут. Разобрав возжи, бросает хозяйке:

— Ну, с Богом. Давай, хозяйка, ворота!

Хозяйка едва успевает отскочить, как лошади махом выносят за ворота, и тарантас катит по улице, разгоняя от навозных ошметков кур, гусей, уток, воробьев. Шарик стремглав скачет за тарантасом, залетает вперед, лая на пристяжную, норовя укусить в морду. И потом долго бежит у заднего колеса — язык тряпкой — не сводя глаз с мелькающих спиц.

Минует погост. На старых высоких березах угнездились целым полком воронье. Село позади, мелькают скирды, копны, стога, перелески, лески. Колокольчики убаюкивают, усыпляют...

Просыпаюсь, вздрогнув. Василий остановил лошадей, показывает кнутовищем на небо: дождь пуше. Соскочил с облучка, поднимает верх тарантаса. На минуту он где-то сзади. Лошади жарко поводят боками, от них поднимается пар. Василий заходит вперед и дернув сбрую, пролезает под поводом пристяжной оправить седелку. Карий от дождя и пота стал вороным, шея тонкая, грива мокрая, не пушится. Василий тянет хвосты, завязывает тугим узлом и, не спеша, делает цыгарку, разжигает, потом натягивает на себя второй армяк и взбирается на козлы. Только возжи в руки — и пристяжная уж раскидывает задние ноги, — **облегчиться.**

— Ишь ты, как нарочно, — ворчит Василий и высвистывает на то же и коренника.

Проезжаем леском, там все только желтое и красное, зелени нет. Лес поредел, машет нагими ветвями. Только осина докрасна не сдастся, не хочет терять свой убор.

Сейчас будет большое село. В небе прояснило. Опять откидываем верх тарантаса. Я спускаюсь промяться и хорошо, до хруста в костях, потягиваюсь, долой ленивую дрему.

Перед самым селом встречаемся с телегой, мужики едут целой ватагой, нахлестывают каурку, горланят, болтают ногами. Кроме тех, по бокам, в середке лежит пластом еще один, — сморился, сердечный. Сбоку, на длинных ногах, трусит си-

вый жеребенок, то жмется к оглобле, ближе к матери, то козлит вприпрыжку в стороне.

— Базар у них нынче, — говорит Василий.

Село делится надвое широким оврагом. Василий осаживает на спуске коренника, хомут лезет на голову, пристяжная пятится и, попадая задком на передок, пугливо рвется вперед. На полуспуске дает вольную, гикает и в миг выносит нас на половину подъема.

Проезжаем базар — почти кончился. Рядами телеги, образуя улицы; воровато шмыгают куры, молодой петушок долбит черствую корку. У коновязи каурки, лысанки, гнедки, похрапывая, зарывают морды в сено. В стороне лошадь, задравши голову, гложет забор. Жеребец под седлом, привязан на короткий повод к столбу, крутит глазами на проходящих, норовя лягнуть, — балует. Недалеко стоит дрянная лошаденка, прикрыта наполовину дырявой рогожей. Хозяин накрыл, когда был дождь, а потом загулял, запамятовал. Не он ли это идет, — красный, широко расставляя ноги, в полущубке, разорванном подмышками?

Мельком последние избы и опять лески, перелески, поля, желтое жниво, скошенный луг, стога, зеленые скаты холмов, в изумрудах озимые.

Над кондовой Русью начинается осень, — плодовая, хмельная, разгульная.

П. СТАВРОВ

СКИТАНИЯ

— Дайте мне десять франков, — говорит, не здороваясь, Юрий Олеша, низкий, приземистый, с проседью на висках.

Мы стоим у маленькой, в три ступеньки, лестницы уходящего ввысь кирпичного здания, крыша скрывается в лунном небе.

У меня немного больше десяти франков и надо сообразить, как бы их не дать, чтобы не рассориться.

— Угнетен и приехал сюда, а они хотят сделать меня немцем... у меня звезда Альдебаран, и я написал «Зависть»...

Звезда Альдебаран освещает красные, разграфленные в белую полоску стены ровным бледным сиянием.

Мы входим внутрь огромного здания. Это больница — бесконечные коридоры — и опираемся на спинку больничной койки, продолжая разговор, напряженно, не двигая губами, невесомые, как будто уже оба умерли. Временами говорю за него я.

— Наш друг, Эдя Багрицкий, умер, и умер достойно и, задыхаясь, видел золотых рыб, и любимый щегол, которого он держал в клетке над постелью, реял над его головой... Моя слава тоже умрет, и я остаюсь в Париже...

— Но ведь Париж... это невозможно, это совершенно невозможно...

Было горестно и трудно дышать, и слезы не хотели пролиться.

Он еще ничего не знал, да и как было ему сказать, а я, задыхаясь, как Багрицкий, не оборачиваясь, видел — и слышал шаги: «они» приближались. Впереди «он» в грязно-зеленом мундире, в фуражке, с взлетевшими как крылья полями, а за ними семенит угодливый господинчик и шествуют две нарядные дамы. Этих дам я еще не узнал в лицо, но все сей-

час в корне изменится, и наш разговор потеряет всякий интерес, и все может быть из-за десяти франков, которые все-таки придется дать — ведь во сне деньги ничего не стоят.

Но ведь это госпиталь, — лепечет растерянно господинчик, хотя знает, что ничто не поможет, что все будет не так, как он хочет и как мы с Олешей хотим, а совсем по иному.

— Какие ручки у меня, какие маленькие ножки, — говорит вдруг по Блоку Олеша, съеживаясь и окончательно расплываясь, и я различаю свою руку, лежащую на мраморной доске столика, и газета, еще не совсем отделенная от длинных коридоров, скользит с шуршанием на пол. А я уже знаю, что тоска и боль оттого, что стальной угол багажной тележки, на которой, скрючившись, я лежу, впился мне в ребра, что я не в госпитале, а беженец из Парижа и провожу ночь на вокзале в Тулузе и не могу растянуться, вытянуть измученное усталостью тело.

И не хочу этого знать и продолжаю видеть убегающий коридор и в конце его уходящего писателя.

... — Закрывайте за собой дверь, господин, это, кажется, не так трудно...

Холодное дуновение, возня и вздохи, старчески закашлялась собака за чьим-то баулом. Нехорошо, очень плохо, царапает, будто по сердцу, шаркающая гвоздем по цементному полу подошва, а рассвет никогда не наступит и невозможно улечься на этой проклятой тележке, никак не забудешься сном, и какие странные бывают сны и если рассказывать мое свидание с Олешей, нужно больше художественных подробностей, иначе выйдет неправдоподобно, неискренне, нереально.

А жандарм, который не хотел пропустить меня на вокзал, наверно настоящий. Он проходит сейчас, осторожно ступая, лавируя между чемоданами, протянутыми ногами и столиками — верно, идет вздремнуть, утомившись, значит уже три часа и через час — полтора наступит, пожалуй, рассвет.

А сейчас ни ночь, ни рассвет, а чорт знает что такое — будто светится темная сырость по углам и сереет пыль и наши

испарения под потолком. Сияет синяя лампочка над журнальным киоском — от каких еще аэропланов тут надо спасаться? — выхватывает из сереющей массы газетные заголовки и какого то дядю во фраке на большой, в поллиста, каррикатуре.

Сколько заголовков и лозунгов и девизов бегут ступеньками, расходятся уголочками, теряются в мутной темноте...

Для чего же над нашей нищетой и ничтожеством, над нашими распростертыми в прахе телами, над узлами и чемоданами, над хаосом столиков и тележек, возвышается, господствуя, эта велеречивая, но уже надломленная иллюзия?

Вдруг они заговорят, эти девизы и лозунги, вещая из громкоговорителя, возглашавшего до сих пор, что мест в гостиницах нет и прибывающим предлагается ночевать на вокзале:

«Мы победим, потому что мы богаты». «Нет места панике». «Бомбардировка предместий Берлина»... бомбы сыплются на обезумевший город, дома валяются, как карточные, дым застилает небо...

Но не надо про газетную выставку, все равно выходит выдумка... и слишком литературно. И никак нельзя — о том, что за спиной у меня клетка для кур с толстыми камышевыми прутьями и большой белый попугай высовывает из нее огненный хохолок и время от времени говорит, картавя: «с добрым утром, господа, с добрым утром» и кудахчет по-куриному... и в полночь веселая гармоника уезжающих куда-то молодых-авиаторов — над всей этой суетой и несчастьем...

— Закройте эту проклятую дверь и навсегда!

Из-за веселых песенок и пропустил меня, вероятно, этот жандарм, который теперь, появляясь из темноты, негодуя захлопывает дребезжащую дверь. Нахмурился, пожевал губами и сказал «Пройдите» под ободряющие звуки гармошки.

А что было бы со мной без музыки и когда «человек» отделился в нем от жандарма, и почему я не хотел дать десять франков Олеше, хотя, право, у меня очень мало денег

и я не знаю, что будет со мной в эти дни всеобщего бедствия... но все же как стыдно отказывать в такой мелочи при тяжелых обстоятельствах и кривить душой, и, кажется, только во сне человек бывает вполне искренен и находится в своей истинной сущности, но все это уже по Фрейду, а у него так неясны все эти «над» и «под», и все эти «я», и сам он говорят, никуда не мог убежать от своего анализа... а Гофман был горький пьяница... и как трудно все это понять, во всем этом разобраться.

— Невозможно же протягивать ноги в проходе. Не знаете ли где достать воды, я умираю от жажды...

Я тоже многое бы дал за стакан чистой свежей воды, и мне очень нужно выйти, но не знаю куда, и лень шевелиться...

— Не плачьте, мадам, я видел, как его подобрала каминетка около Шатору, — говорит вдруг голос по-русски, и я различаю почтенных лет рыжеватого еврея, что сидел в поезде за два от меня чемодана — соседи называли его господином Гербером.

Я знаю и даму, которую он утешает, я знаю ее давно, я видел ее на парижских бульварах, веселой, смеющейся, отбивающей шаг — в белом шелковом пальто и причудливой шляпе — привлекательной и волнующей, и профессия ее была явной и стоило это сто франков. Но почему она понимает по-русски, как это неожиданно и какое короткое словцо определяет по-русски ее профессию, и как смачно многие произносят его, смутно радуясь существованию такого веселого и удобного института. У нее завернулся, отвис колбаской чулок на полной ноге, и в смутно брезжущем свете я вижу темную кайму отросших, как смешная кепка, под краской волос, и потрескавшуюся от плача губу, а щеки ее кажутся бледно-синими.

Она не узнала бы себя в зеркале и плакала бы еще пуще и говорила, что это не она, и больше не сможет зарабатывать денег, и вот еще потеряла в дороге друга, а, может быть, сына.

Господин Гербер утешает ее уже вяло, почти механически и думает все про свое, и страдает, и я понимаю его, потому что и он, как я, не может заснуть и дожидаться настоящего утра и угол тележки впивается и в его бок, и мы понимаем друг друга всецело, не зная один другого и не сочувствуя. А он думает — как нехорошо, что при всем этом бедствии он еще родился евреем и что будет, если немцы дойдут до Тулузы и как было бы прекрасно, если бы он был не он и какие от такой ошибки были бы большие и приятные последствия...

Надо заснуть, и это может быть удастся, если, повернувшись, подтянуть к себе незаметно соседний плед в ремнях и осторожно просунуть между двух чемоданов ноги — завтра будет трудный день, во что бы то ни стало надо найти комнату... Только невыносимо, что кто-то храпит с особенным каким то затеком, как при болезни сердца — и очень неравномерно, что раздражает и окончательно гонит сон.

...а господин Гербер, если бы на самом деле родился иным, не мог бы об этом знать и этому радоваться...

...вот статский советник у Гофмана обменивается почему-то душой с молодым человеком, и как он судит о себе, что он статский советник, по душе или по телу, и чем же, каким «я» он судит... Почему он наклоняется ко мне в вицмундире моего гимназического учителя и ласково гладит меня по лицу пухлой и теплой рукой и бегущая от руки огненная стрелка то пронизывает меня, то уходит куда-то вдаль, радужные кружочки накатываются, находят друг на друга, а один белый плывет, не расплываясь — так что можно лежать и играть в серсо, не раскрывая глаз.

Но я раскрываю их и перестаю беседовать с умершими и отсутствующими писателями, и вижу пыльное, с отсветом стекло и наклеенную на нем бумажку с оторванным краем и большое оранжевое солнце, на которое еще не больно смотреть.

Оно поднимается все выше, бледнея и уменьшаясь, и мы вступаем в залитую светом, но суровую и неуютную жизнь.

ЛЮДИ В „КУБИКАХ“

Если покойнику полагается три аршина земли, то интернированному — 45 квадратных футов жилплощади.

Из них кровать среднего размера занимает 22 кв. фута; средней величины сундук — 10 кв. футов; небольшой столик и стул — 7 кв. футов. Остается свободного пространства 6 кв. футов. Здесь интернированный может безмятежно резвиться.

Конечно, стол и стул можно сложить и приставить к кровати, а сундук вынести в коридор, где его будут передвигать обладатели других сундуков, пока кто-нибудь не водрузит на него три чемодана, корзину и неприподъемный узел.

Поэтому все стараются держать наибольшее количество вещей при себе, в своих «кубиках».

Что-же такое «кубик»?

При входе в чапейский дортуар не видно ничего, кроме занавесок, укрепленных на вбитые в потолок бамбуковые палки, и задернутых с четырех сторон. Кажется, что весь дортуар плывет на раздутых парусах. Пространство за занавесками и есть лагерьный кубик.

В кубиках обычно живут семейные и чем больше семья, тем больше у нее квадратных футов.

Миссионеры, славящиеся своей плодovitостью, имеют максимальную жилплощадь; так м-р и м-с Д., миссионеры из провинции Чекианг, и шестеро детей (возрастом от шести до семнадцати) имеют 360 кв. футов. Это уже не кубик, а прямо квартира из восьми кроватей.

Каждый обитатель Чапея имеет также право на полку длиной в 48 вершков и шириной в 10 вершков. Там можно держать еду, посуду и пр. Под полкой иногда висит платье, стоят ведра, метлы и хибачи.

Места на полках являются причиной постоянных скандалов.

Например, Икс передвинул свои банки на два вершка и потеснил банки Игрека. Крупное объяснение, в которое вмешиваются жены Икса и Игрека. Крики. Вопли. Игрек вызывает к заведующему комнатой. Обитатели остальных кубиков раз-

деляются на партии: кто за Икса, кто за Игрека. Под дверью с радостными улыбками слушают скандал жильцы коридора.

Или: м-с З. получила в посылке краковскую колбасу и повесила ее на гвоздик, вбитый в полку. Колбаса заняла вершок соседней полки, принадлежавшей супругам Т. М-с Т. попросила м-с З. убрать колбасу. Попросила раз, другой, третий. На четвертый раз м-с Т. вытащила гвоздик, вбила его на вершок дальше и перевесила колбасу. М-с З. немедленно же руганью открыла военные действия. М-с Т. в ответ сорвала с гвоздя колбасу и ударила ею обидчицу по голове. На визг прибежали заведующий дортуаром, заведующий коридором, заведующий зданием. М-с Т., м-с З. и колбаса были отправлены в комитет. Там дамам было сделано соответствующее внушение, а инцидент с колбасой весь лагерь жевал два дня.

Яростные склоки происходят также из-за жилплощади.

Не успеет какая-нибудь семья переселиться из одного дортуара в другой, как все оставшиеся в нем жильцы начинают лихорадочно раздвигаться во все стороны. И когда жилищная комиссия пытается водворить в «свободный» кубик новых постояльцев, — места для них не оказывается.

Представителю жилищной комиссии пытаются внушить, что дортуар и так уже стеснен до последней степени; что его обитатели никогда не имели справедливого надела; в дортуаре оказываются инвалиды, которым необходим простор и воздух (правда, один из них по лагерной должности работает в команде, перетаскивающей тяжести, но это неважно: у него вдруг открывается ущемление грыжи).

Новичков, все же, вселяют. Они держатся робко, жмутся к двери, умильно улыбаются и выхваляют свои достоинства: и тихие-то они, и спокойные, и вещей у них мало, и гости к ним не ходят...

Но вот втаскивают их кровати, — и новички становятся настоящими тиграми. Они принимаются раздвигаться во все стороны и на бешеную ругань утесняемых отвечают такой же бешеной бранью.

Опять тащат заведующего жилищным отделом. На этот раз за ним шествует мрачноватый человек, которого все в Чапее смертельно боятся: это м-р Тэйт. Он несет аршин, веревку и мел. Не говоря ни слова, м-р Тэйт начинает измерять сначала общую жилплощадь дортуара, а затем жилплощадь каждого кубика. Он отмечает полагающиеся места мелом и протягивает между значками веревку. В результате выясня-

ется с точностью, сколько кто у кого зажил квадратных футов. Спорить бесполезно.

После энергической речи заведующего, которая должна устыдить захватчиков, идет всеобщее передвижение кроватей, сундуков и прочего скарба. К вечеру все водворяется на новых местах и только тихо и злобно пыхтят в своих кубиках.

Внешний вид большинства кубиков ужасен: грязные занавески (у кого нет занавесок, старые одеяла и скатерти), разваливающиеся складные стулья и жалобные, колченогие столишки, железные кровати, застеленные убогим тряпьем, — покрывал почти ни у кого нет. За два с половиной года тюремного сиденья они изорвались, а у некоторых покрывал вообще не было.

Почему-то в кубиках, сколько их не метут, всегда грязно: летит пыль из матрасов, садится копоть и сажа от хибачей, приносится глина на подошвах. Есть кубики без окон, куда свет поступает только с потолка. Обитатели подобных нор видят вокруг себя четыре несвежих занавески.

Не менее важная проблема, — электричество. От иных кубиков лампочки так далеко, что по вечерам невозможно ни читать, ни работать. К тому же все они прикрыты черными чехлами, — мера воздушной обороны. Любители чтения, обычно, сидят под лампочками в коридоре, стараясь не замечать беспрестанно спящих мимо и галдящих прохожих.

Конечно, есть и кубики с потугами на элегантность, в них живут обладатели резных китайских сундуков, или те счастливы, у которых имеются туалетные столики, сколоченные из ящиков нашими столярами.

У британцев к занавескам прищиплены национальные флажки. В кубиках миссионеров их заменяют бумажки с душеспасительными надписями: «Господь моя сила», «Я всегда с тобою» и пр.

Впрочем, большинство интернированных так ненавидит свои жилища, что даже не пытается их украсить. Все озлобилось, ожесточилось и выработали в себе психологию человека из подполья: чем хуже, тем лучше.

«Хорошо, что ничего,
Хорошо, что никого»,

как писал упадочный парижский поэт. Будем смотреть на четыре сомнительных занавески, валяться на кровати и влачить безобразную жизнь в безобразной норе.

А жизнь, в самом деле, безобразная.

Начать с того, что в дортуаре все слышно и, при желании, все видно. Поэтому соседи знают друг о друге всё.

Рядом, сбоку, вокруг, — говорят, смеются, плачут. Во сне храпят, свистят, кашляют, чихают, бредят.

Семейство А., соседи по кубику моей приятельницы Тани Н. отличается редкой музыкальностью: глава семьи сразу же после первого звонка (сигнал к вставанью) начинает петь. Затем вступает его жена. Потом пятилетняя дочка. Папа А. предпочитает английские баллады, мама А. — джазовые песенки, а дочка исполняет репертуар детского сада. Поют весь день. Поют уже два с половиной года...

Вся жизнь в кубиках вынесена на суд общества.

Если между мужем и женой происходит сцена, — о ней знает весь дортуар. Многие пары натренировались ругаться шопотом, но и в этом случае нет гарантии, что к их шипению не прислушиваются длинноухие соседи.

М-р Икс стал ухаживать за м-с Игрек. Лагерные языки заработали и мужу пришлось принять решительные меры: во время «мертвого часа» он вошел в кубик Икса и ударил его кирпичем по голове. Наука не пошла в прок чапейскому Казанове. Тогда м-р Игрек, повстречав соперника на лестнице, разбил ему в кровь физиономию. Можно себе представить, сколько радости эта драка доставила чапейцам.

В здании Е обитает негр Джимми, музыкант. Целыми днями он практикуется на тромбоне, сводя с ума весь коридор. Когда Джимми разыграется, остановить его невозможно. Он самозабвенно дует в тромбон, который то пронзительно верещит, то заливается истерическим хохотом, то синкопически ухает и квакает.

Если соседи жалуются заведующему зданием, Джимми обижается и отказывается играть в нашем чапейском оркестре. А без лихого тромбониста, — какой уж оркестр? Поэтому приходится выносить «жильца с тромбоном».

Джимми частенько поколачивает свою жену. После драки, к вечеру, супруги мирятся и в их кубике разыгрываются пламенные, африканские страсти.

Впрочем, страсти свойственны и миссионерам.

Так обитатели одного из дортуаров слышат по ночам, как Зед, миссионер из провинции Киангси, уговаривает свою жену, приводя ей тексты из Библии в доказательство полной законности его супружеских домоганий...

Вообще, жизнь в семейных дортуарах напоминает из-

вестный «бельгийский» анекдот.

«Чем занимается население Бельгии?» — спросили девочку на экзамене.

«Население Бельгии? оно... оно занимается плодородием», — отвечала малютка.

Обитатели кубиков тоже занимаются плодородием и развивают в этой области, поистине, стахановские темпы.

Жертвами этого являются те же безответные сожители по дортуару. Они должны выносить неумолчный писк и рев пеленашек, от которых нет покоя ни днем, ни ночью.

Дети — это бич обитателей кубиков.

Подравшись, они бегут с жалобами к мамашам, которые немедленно вступают в самочий бой, защищая детенышей. Тогда соседи кидаются из дортуара вразсыпную, кто из них бежит к заведующему коридором, кто к заведующему зданием, кто в комитет.

В чапейских дортуарах полное смешение «племен, наречий, состояний».

Бывшие шанхайские «тайпаны» и их надменные жены живут бок-о-бок с «евразийцами» — китайской, японской, португальской, арабской, негритянской смесью.

Я представляю, что в Шанхае отношения между м-ром А. (одним из директоров известной фирмы) и м-ром Б. (захудалым клерком португало-китайских кровей) равнялись отношениям брамина и пария: вода, которой коснулась нога брамина, приобретала для пария божественные свойства.

Но в Чапее м-р Б. расправился, приосанился и проявляет по отношению к брамину, м-ру А. полное презрение, всем своим видом «давая лордам по мордам».

М-р Б. даже украл у м-ра А. два квадратных фута жилплощади. А когда м-р А. возмущенно заявил соседу, что он тайпан и вообще, кто такой м-р Б. и кто такой он, м-р А., — то эмансипировавшийся пария нахально расхохотался:

— Кто вы такой? А мне наплевать, кто вы такой! Мы здесь все равны и вы — ничто иное, как номер.

И в тот же день украл у м-ра А. еще один квадратный фут.

Жены тайпанов и в чапейских кубиках стараются вести светский образ жизни. Они устраивают бриджи, мачжаны, чаи и даже званые обеды; часовые достают для них строго запрещенные в лагере спиртные напитки и тогда из великосветских кубиков доносится жирный смех тайпанов и птичье щебетанье

тайпаних, звяканье стаканов, звон вилок и ножей, — совсем, как в Шанхае!

Так и кажется, что ктонибудь, забывшись, крикнет:
«Бо-ой! виски и сода».

Кстати, кто это из английских писателей сказал, что пресловутый «звон Востока» есть ничто иное, как зычное «бо-ой!» несущееся от Бомбея до Токио?

Около тайпаних крутятся, как лопманы вокруг акул, подтайпанивающие особы женского пола, чающие милостей, т. е. приглашения на бридж, на дамский чай и т. д. Идут подкопы, всевозможные интриги; особы из сил выбиваются, стараясь подставить одна другой ножку, — оговорить, наплетничать и попасть в фавор. Невероятно, но факт.

Одним из самых знаменитых дортуаров Чапея является № 108 здания Е.

Это — гнездо шпионов.

Там же, по несчастью, поселилась Ек. Серг. К., русская, натурализовавшаяся в Америке.

С одной стороны Ек. Серг. помещается полу-японка Х. с рамоликом-мужем. С другой некий Р.

И Х. и Р. водят дружбу с часовыми и осведомляют их обо всем, что делается в лагере.

Между шпионами идет война: никак не могут поделить сфер влияния. Они подслушивают, подсматривают, обыскивают друг у друга кубики, ругань между ними идет весь день.

Обитатели № 108 умоляют комитет выселить шпионов, но и комитет и жилищная комиссия бессильны: ни один из дортуаров не согласен их принять, — ни вместе, ни порознь...

У Х. постоянно бывают в гостях часовые, которых она поит и кормит. Иногда они вваливаются к ней ночью, зажигают свет, приносят сакэ и тогда веселье идет на полный ход — часовые гогочут, поют дикими голосами, гремят шашками, практикуются в джиу-джитцу.

Из № 108 ползут все мрачные слухи, распускаемые японцами. Обычно, они касаются перевода Чапея в другое место. То нас увозят в Нанкин, то в Маньчжурию, то в Японию. То в Чапее остаются одни женщины и дети, а мужчин увозят в Японию. И хотя все знают, кто именно и почему распускает эти слухи, профессиональные паникеры слушают, верят, ужасаются и разносят их дальше, прибавив от себя дополнительных ужасов.

В Чапее поэтому бывают периоды, когда все лихорадочно складывают вещи на случай перевода.

Шпион Р. со своими сожителями не ссорится, но Х. — убежденная и ярая скандалистка. Однажды она бросила тарелку с супом в лицо заведующему кухней. Бедной Ек. Серг. К. она проходу не дает и ругает ее целый день, причем «русская тварь» — самый мягкий из эпитетов, которыми она награждает беззащитную соседку.

Когда к Ек. Серг. приходят ее русские приятельницы, Х. начинает громко критиковать их нравственность и вообще поносить всех русских; если ее пробуют осадить, Ек. Серг. чуть-ли не со слезами умоляет не вмешиваться: опасно.

Видя, что ругань не помогает, Х. прибегает к другим мерам выживания. Сначала она во весь голос поет. Потом изо всех сил толкает кровать Ек. Серг., где сидят гости. Потом вместе с рамоликом мужем принимается ...издавать неприличные звуки. Смешно? Но с такой гадиной как Х. приходится жить!..

В № 107 здания Е находится кубик удивительнейших супругов Тревор-Смит.

Фея, присутствовавшая при рождении Елены Яковлевны и Тэда Тревор-Смита, взглянула на колыбельки, где барахтались эти будущие чапейские чудотворцы и изрекла словами поэта:

«Иди к униженным, иди к обиженным»...

Собственно, униженные и обиженные сами идут в № 107. Приглашать их не приходится.

Дело в том, что Елена Яковлевна и Тэд организовали в своем кубике бесплатную столовую для тех, кто не получает посылок с воли.

Тэд ежедневно отправляется в мясную с ведром и собирает там с полу обрезки мяса, забракованные мясниками и кухней. Затем он притаскивает ведро в свой кубик, где вокруг стола сидят голодающие, вооруженные ножиками, ножницами и бритвами.

Содержимое ведра, — какие-то кровавые и серые лохмотья, жилы, кости с прилипшими кусочками мяса и еще что-то непонятное, — вываливается на стол, и голодающие приступают к делу.

Они состригают, счищают, соскабливают, срезают с этих отбросов микроскопические кусочки мяса. Эта процедура занимает, примерно, полтора часа. Тем временем Елена Яковлевна идет в кухонное отделение, где происходит чистка ово-

шей. Там она подбирает с полу капустные листья, огрызки моркови, случайно уцелевшие картофелины. Из мяса и овощей чапейские чудотворцы варят суп, который затем самолично разнесится Тэдом по кубикам голодающих.

Одно время Тревор-Смиты кормили 60 человек.

Вот типичное утро в кубике Тревор-Смитов. Елена Яковлевна что-то стряпает. Тэд обмахивает веером хибач. Какой-то незнакомец гладит в углу брюки утюгом Елены Яковлевны. На постелях и на всех свободных стульях сидят гости, пьют чай и бурно разговаривают. У притолоки стоит тетка с кастрюлей, — сестра ей негде. В дверь поминутно входят просятели.

Елена Яковлевна, одолжите сковороду. — Нет-ли у вас чайной ложки соды? — Сколько стаканов воды пойдет на клизму для Джимми? — Тэд, можно взять ваши резиновые сапоги? — Мисси, научите, как варить лук: в шелухе или очищенным? — У вас чатти свободно? — Тэд, сегодня суп будет? — Нельзя ли оставить на полчаса мое ведро? — У вас чатти свободно? — У вас чатти свободно? — У вас чатти свободно? — У вас есть кипяток? Тогда я принесу свой термос. — Вы не накормите моего кота? — У вас чатти свободно? Елена Яковлевна, когда вы сможете поставить маме банки? У вас чатти своб...

И Елена Яковлевна с Тэдом одалживают чатти, караулят ведра, дают сапоги, — отказа никому не бывает.

Здесь также камера мирового судьи: поссорившись, чапейцы, прежде чем подать жалобу в комитет, отправляются к Тревор-Смитам, которые часто разрешают склоку на месте.

Приходят узнать новости. Приходят за русскими газетами, которые Елена Яковлевна получает таинственными путями.

Здесь же готовится собачья и кошачья еда. Собирают хлеб для голодающих китайцев.

И никогда не унывают, не жалуются, не скулят.

Но «быть человеком», повидимому, противно природе человеческой. Во всяком случае, в условиях концлагеря.

Идут годы и все ближе освобождение, но жители кубиков измотаны, издерганы, озлоблены. Бывают периоды, когда они вдруг начинают смертельно ненавидеть друг друга.

И глядя на их осунувшиеся испытанные лица, радоваться может только м-р Скотт, владелец шанхайского похоронного бюро, находящийся в Чапее: потенциальные клиенты.

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Мне говорили о нем: очень умный человек.

Первая попавшаяся мне на глаза статья его начинается так:

— В нашу динамическую эпоху...

Едва-ли это умный человек. А впрочем, может быть, — но с налетом пошлости, наверно.



Прекрасная Франция.

Что ни говори, как ни верти, отрицать этого все-таки невозможно: русского человека что-то от Франции отталкивает, и здесь, в последние двадцать пять лет, при окончательной проверке, это обнаружилось с совершенной ясностью. Не по сердцу.

Споришь, волнуешься, пожимаешь плечами, а в глубине души знаешь, что это так. Было на земле только два города. Афины и Париж, а все-таки это так, к стыду и, может быть, к несчастью нашему.

Есть отталкивание вульгарное и так сказать, безграмотное — в стиле: «да где им до нас, сантимщикам! да вот мы...» Но есть и другое, очень глубокое.



Пушкин о французской литературе, — будто бы она «родилась в передней и не пошла дальше гостиной».

Почти дословно то же самое, что в дневнике своем Андрэ Жид говорит о Анатоле Франсе: «нет спальни, нет комнаты, где совершено преступление», и так далее. Значит для Пушкина французская литература была сплошным Анатолем Франсом, и ничего другого он в ней не уловил. Между тем... впрочем, что же «между тем»? Тысячи томов не хватило бы на это «между тем».



Заслуги, труды, седины. Какая то вечная, грустная, монастырская, будто охолощенная серьезность. Острый слух ко всему, что чуть-чуть не от мира сего.

Да, все это у него было. Был редкий талант, от которого, впрочем, в книгах его остался только слабый, неверный след. Да, да... Но как я мог уважать его?

Ведь если бы я к нему пришел, и стал нести любой вздор, для него лестный, — например:

— То, что свет есть тьма, а тьма есть свет знал может быть один человек на земле — Данте. А теперь знаете вы.

Любой высокопарный, льстивый вздор, тут же мною наобум сочиненный, то он не оборвал бы меня:

— Что вы за чепуху городите!

— а наоборот, немедленно приосанился бы, взглянул бы на меня самым проникновенным своим, из бездны бездн идущим взором, ответил бы самым тихим, значительным, серафическим голосом, согласился бы, что он действительно что-то такое знает.

Ну, как я мог уважать его!



Кстати, нет человека, которого нельзя было бы поймать на лесть. Или почти нет.

Однажды, в редакторском кабинете Милюкова, я, войдя слишком рано, застал предыдущего посетителя, который задерживаясь у порога, будто не в силах уйти, рассыпался не то что в комплиментах, а в каких-то безграничных, блаженных восторгах по поводу прочитанной накануне Милюковым лекции, — и слушая я думал: как ему не стыдно! ведь Милюков же понимает!

Но Милюков, розовый, полный, сияющий, в ответ поощрительно улыбался, скромно разводил руками — и явно был очень доволен. Вероятно он понимал. Но слушать лесть, даже и настолько грубую, было ему приятно.

А возможно что и понимал он не вполне. Кто же не был в таком положении? — Чувствуешь: врет, подлец, — но остается сладкое сомнение: а может быть я в самом деле такой удивительный человек, гений и светоч? Может быть со мной он искренен?



Случайно раскрыл томик мадам де Севинье, и ахнул:
«*Ces beaux jours de cristal du début de l'automne...*»

Ведь это же тютчевский «день как бы хрустальный», и не может быть ни малейшего сомнения, что Тютчев этот образ у мадам де Севинье заимствовал! Так взял он у Паскаля «мыслящий тростник», да и кое-что еще. О совпадении не может быть и речи.

Кажется, это никогда еще отмечено не было. Но в поэзии плагиата не существует, и «день как бы хрустальный» остается одной из драгоценнейших тютчевских находок. Все дело в том, как сказано, как расположены слова. Строчку мадам де Севинье можно ведь было перевести и так, что никакой прелести в ней не удержалось бы.



Мастерство поэта.

Не мало есть книг по этому предмету. Есть между прочим книга Брюсова «Опыты», интересная и в качестве «человеческого документа», для характеристики ее автора.

Брюсов повидимому полагал, что сущность поэтического мастерства может быть растолкована и изложена в учебнике: существуют такие-то законы стихотворения, такие то стихотворные формы. Ямбы и дактили, сонеты и рондо. Понятие цезуры требует особого исторического очерка, понятие рифмы то же, — и так далее.

Брюсов считал Иннокентия Анненского дилетантом и отзывался о нем несколько свысока, как о поэте талантливом, однако не вполне овладевшим поэтической техникой.

И тут разверзается пропасть.

Ямбам и цезурам действительно можно научиться по книгам. Но это оболочка мастерства, это приготовительный класс. Конечно, не следует хвастаться незнанием и нежеланием знать, что такое ямбы — как хвасталась Цветаева, — но не надо и преувеличивать значение подобной учености, в конце концов почти сплошь условной. Самое важное — и не условное — в книге объяснить до крайности трудно. Самому важному поэт учится сам, — ошупью, чутьем, бесконечными проверками, на своих же срывах и ошибках, год за годом, до самой последней написанной им строчки.

Так учится он:

расположению образов и «экономии» их, т. е. тому, чтобы строфа не была отягощена картинностью и чтобы образы второстепенные не заслоняли основного; игре гласных, ведущих мелодию, и аккомпанименту согласных, — что имеет малого общего с дикарскими упражнениями, вроде «вечер, взморье, вздохи ветра, величавый возглас волн»; ощущению веса слова, умению найти для каждого слова единственно подходящее ему место, — чтобы создалось впечатление, будто утряслись слова сами собой, навсегда; оправданию возникающей иногда необходимости переставить слова и нарушить естественный ход фразы, — оправданию, обоснованию «инверсии», вопреки Т. де Банвилу, который в своем остроумнейшем «Маленьком трактате» посвящает ей главу рекордно-короткую и рекордно-вздорную: — *Il n'en faut jamais* (впрочем, действительно «*il n'en faudrait jamais*» если иметь в виду случаи, когда слова переставлены исключительно потому, что иначе они не уложились бы в стих).

Многому, многому другому еще, — что знал дилетант — Анненский и о чем забыл мэтр-Брюсов.



Стиль (догадки).

Слово должно быть всегда скромнее и бледнее того, что оно выражает. Слово должно всегда чуть-чуть отставать от смысла. Обещание должно быть меньше того, что в действительности дано. У символистов на каждом шагу Красота и Смерть, с большой буквы, а мысль нередко короче воробьиного носа. Оттого писания их так и обветшали.

О стиле Розанова: чудо гибкости, текучести, непринужденности, уступчивости, отзывчивости, но чудо все-таки довольно жалкое. У Розанова нет пауз. Розанов не умеет молчать, не способен остановиться, оборвать речь — и в щели дать сверкнуть свету. Розанов все выбалтывает, как пьяный, — и закрыв книгу, остыв, справившись с волнением, спрашиваешь себя: и только? Человек, человеческая душа, в книге полностью запечатленная, — только это, не больше? И этот сухой, короткий, деревянный звук — это что же, дно? Русский Паскаль! Ну, нет, от Паскаля так легко не отделаешься, он в самом деле спутник «вечный», и притом всегда идущий впереди.



Дневники.

Дневник Поплавского, например.

«Боже, Боже, не оставляй меня. Боже, дай мне силы...»

Постоянное мое недоумение. Как можно такое писать? Если действительно к Богу, зачем бумага, чернила, слова, — будто прошение министру? Если молитва, как не вывалилось перо из рук? Если же для того, чтобы когда нибудь прочли люди, как хватило литературного бесстыдства?

Не осуждаю, а недоумеваю, — потому что у Поплавского бесстыдства не было, да ведь и не он один в таком духе писал. Не понимаю, и только. Не могу себе представить состояния, которое оправдывало бы переписку с Богом.

Париж, 1946.

ФРАНКЛИН И РУССКИЕ УЧЕНЫЕ ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА

О связи Франклина с русскими учеными его времени известно очень мало. В американской специальной литературе этого вопроса вообще не затрагивали, а в русской коснулись его лишь в статье А. Старцева «Вениамин Франклин и русское общество XVIII века» («Иностранная литература», 1940 г., № 3-4), написанной по случаю 150-летия со дня смерти Франклина.

Автор ее подробно рассказывает, как реагировала Россия того времени на научные открытия и литературные произведения Франклина, но допускает личное знакомство последнего лишь с двумя русскими: Фонвизиним и Дашковой.

Сопоставляя Франклина с Ломоносовым, А. Старцев ничего не говорит о непосредственном контакте между ними. Его, повидимому, и не было. Никаких следов их переписки до сих пор не найдено. А в вышедшей в 1937 г. в Москве книге «Ученая корреспонденция Академии Наук XVIII века (1766-1782)» прямо сказано: «Ни с Франклином, ни с Лавуазье у наших академиков не было корреспонденции» (стр. 23).

Просматривая переписку Франклина, я нашла, однако, письмо, из которого следует, что Франклин не только знал о существовании Ломоносова, но был избран даже как посредник для переписки с ним американским ученым Стайлсом, а также, что Франклин состоял в контакте и возможной переписке с двумя русскими академиками: Брауном и Эпинусом.

Письмо это было написано Франклину Стайлсом 20 февраля 1765 года и опубликовано в полном собрании сочинений Франклина еще в 1838 году.

«Если Вы сочтете слишком большим одолжением», пишет

*) Автор сообщает, что настоящая статья частично основана на материалах для его работы о культурной связи России с Америкой, заказанной и поддержанной специальным фондом Американского Философского Общества.

Стайлс, «исполнить мою просьбу переслать прилагаемое письмо М. Ломоносову, то я всецело предоставляю Вам не давать ему хода. Как видите, я взял на себя смелость попросить ответить на него через Вас, но если я злоупотребляю Вашим именем и дружбой, то в Вашей власти это предупредить. В таком случае позвольте мне попросить Вас дать мне сведения об открытиях в связи с Полярной экспедицией, если она состоится. Я предполагаю, что Ваша петербургская переписка идет с Эпинусом и Брауном. Если путешествия в Балтику будут продолжаться из Америки, как они начались, я буду рад завязать корреспонденцию с Петербургом».

И дальше:

«...Прилагаемое письмо Вы можете считать относящимся к Вам, равно как и к Ломоносову, особенно то, что касается метеорологических наблюдений в 1764 году, которые мы смогли осуществить благодаря Вам».

Кроме сведений о метеорологических опытах в Америке, которые Стайлс сообщал Ломоносову, «прилагаемое письмо», очевидно, затрагивало и вопросы, касающиеся полярной экспедиции по проекту Ломоносова, осуществленной уже после смерти великого русского ученого.

Остальная часть письма Стайлса к Франклину посвящена описанию опытов с ртутью, сделанных академиком Брауном совместно с Ломоносовым. Тогда, в 1759 г., впервые была заморожена ртуть.

Упомянув Брауна, как одного из предполагаемых корреспондентов Франклина в Петербурге, Стайлс пишет, что прочел об открытиях этого русского академика в лондонском журнале «*Annual Register*» (1762). Статья была перепечатана из научных трудов Лондонского Королевского Общества, куда Браун послал в 1761 году сообщение о своем открытии, упомянув Ломоносова лишь как свидетеля своих опытов с ртутью. За год до этого Браун и Ломоносов выступили на заседании русской Академии Наук, каждый со своим отчетом о сделанных открытиях. Но отчет Ломоносова, названный им «Рассуждение о твердости и жидкости тел», остался неизвестным тогдашней европейской науке.

Таким же ученым, прославившимся в Европе своими работами об электричестве и магнетизме, был другой предполагаемый Стайлсом петербургский корреспондент Франклина, — Эпинус. И если непосредственной связи Франклина с Брауном еще не удалось установить, то зато имя Эпинуса не раз встре-

чается в бумагах Франклина, а среди книг франклиновской библиотеки сохранился один из трудов Эпинуса «*Tentamen theoriae electricitatis et magnetismi*» (1759), согласно пометке на заглавном листе, подаренный ему автором.

Об этой книге и о других работах Эпинуса, сделавших в то время эпоху для электричества и магнетизма, Франклин отзывается с большим одобрением в письмах, адресованных разным его друзьям. В виду особой важности мнения Франклина о петербургских академиках интересно привести соответствующие выдержки из этих писем. В том самом году, когда появилась вышеупомянутая книга Эпинуса, Франклин пишет д-ру Хебердену в Лондон: «...Я с удовольствием убедился, что отчет Эпинуса о положительных и отрицательных сторонах нагретого турмалина хорошо обоснован».

А в письме к американскому ученому Винтропу (1764) Франклин, сообщая о возвращении ему Стайлсом книги Эпинуса, повидимому данной им Стайлсу для прочтения, отмечает: «Я должен признаться, что очень доволен (Эпинуса) теорией магнетизма. Может быть мне легче было ее признать в виду его отношения к моему труду об электричестве».

И наконец в письме к французскому физiku Дюбургу (1773) Франклин так отзывается об открытиях петербургского академика:

«Главным образом обязан я этому превосходному ученому из Петербурга за его гипотезу, которая представляется мне в одинаковой мере гениальной и солидной. Я говорю «главным образом», потому что уже много лет прошло с тех пор, как я прочел эту книгу, которую оставил в Америке и может случиться, что я что-нибудь прибавлю или изменю. Но если я не так что-либо передам, это уже будет моя вина».

И дальше:

«Если эта гипотеза представляется допустимой, она явится ответом на большую часть Ваших вопросов».

Более точные документальные данные о связи Франклина с культурной Россией относятся к 70-м годам XVIII столетия, когда начало развиваться основанное Франклином еще в 1743 году Американское Философское Общество, являющееся по существу американской Академией Наук.

В 1771 году, составляя списки виднейших научных обществ в Европе, с которыми оно предполагало начать переписку, Американское Философское Общество упоминает Императорскую Академию Наук и в следующем же году отправляет Франклину, бывшему тогда в Лондоне, свой первый том

трудов для пересылки его в Петербург. Из письма Франклина мы видим, что он переслал эту книгу через барона фон Клингштедта, действительного статского советника, вице-президента юстиц-коллегии лифляндских, эстонских и финляндских дел, одного из основателей Вольного Экономического Общества в Петербурге.

«Прошу позволить рекомендовать Вашему Обществу», пишет Франклин Галловею, вице-президенту Американского Философского Общества, «барона Клингштедта из Петербурга, который был недавно проездом в Англии для закупок, связанных с усовершенствованиями в области сельского хозяйства. Я взял на себя смелость попросить его доставить по назначению нашу книгу, адресованную русской Академии Наук и дал ее ему незапечатанной, т. к. он выразил желание ознакомиться с ее содержанием. Она ему так понравилась и у него составилось столь высокое мнение о нашем Обществе, что он пожелал чести (sic!), как он вежливо выразился, стать его членом, предложив вести с Обществом переписку и посылать ему время от времени разную информацию, семена и все то, что оно пожелало бы иметь из России».

Эта выдержка из письма Франклина была оглашена в Философском Обществе 15 января 1773 года и в тот же день барон Тимофей фон Клингштедт был избран первым русским членом первой американской Академии Наук.



До сих пор я говорила лишь о контакте Франклина с русскими академиками немецкого происхождения.

Первый русский ученый, связь которого с Франклином мною документально установлена, — князь Д. А. Голицын, являющийся типичным воплощением сначала елисаветинского, а потом екатерининского просвещенного вельможи. Дипломатическую карьеру начал он при русском посольстве в Париже. Там он сблизился с Вольтером и Дидро и увлекся идеями французских энциклопедистов. Его переписка с Вольтером имеется во всех полных собраниях сочинений Вольтера и в «Историческом вестнике» (1881). О дружбе его с Дидро, продолжавшейся и после назначения его послом в Гаагу (1768), кроме самого Дидро, сообщает жена Голицына, немка, ставшая известной всему католическому миру отречением от вольнолюбивых идей восемнадцатого столетия и обращением своего сына в католичество.

О сыне, Д. Д. Голицыне, посланном отцом в путешествие по Северной Америке, оставшемся там навсегда под именем монаха о. **Августина** и основавшем в Пенсильвании селения «Лоретто» и «Голицыно», написан ряд книг в Германии и Америке и небольшая статья в «Историческом вестнике» (1881).

Но о Голицыне отце, чье неизданное письмо к Франклину мне удалось найти, известно немного. Отрывочные сведения о нем имеются в русской генеалогической литературе и биографических словарях, и имя его упоминается в работе французского ученого Ф. Рено «*La Politique de la propagande des Américains durant la Guerre d'Indépendence*» (Париж, 1922-1925), в связи с рассказом о посылке в Россию первого представителя Америки, Франсиса Дана.

Проезжая через Париж, Дана совещался о своей миссии с Франклином. Франклин настоял на том, чтобы Дана появился в Петербурге не в официальном звании посла, а под видом американского путешественника. Он хотел, чтобы Дана перед отъездом в Россию повидался и посоветовался с князем Барятинским, русским послом в Париже, а также с русским послом в Гааге, князем Голицыным. Дана не повидался, однако, ни с тем, ни с другим, боясь, чтобы они не выдали своему правительству его инкогнито.

Доверие Франклина к Барятинскому и Голицыну объясняется, повидимому, теми личными отношениями, которые связывали его с ними. В своей автобиографии Франклин отмечает исключительную внимательность к нему Барятинского, с которым он встречался не только на официальных приемах, но и в домах общих друзей.

Но если с Барятинским у Франклина были чисто светские отношения, то с Голицыным его могли связывать научные интересы.

Как многие вельможи того времени, Д. А. Голицын получил незаурядное образование; он увлекался философией, искусством, историей, экономическими науками, минералогией и метеорологией. Ему поручались ответственные переговоры по приглашению в Россию разных иностранных знаменитостей. При его содействии состоялся приезд Фальконета и была куплена библиотека Дидро. С помощью Вольтера и Дидро он занимался собиранием художественных ценностей и антиков для Царскосельского музея, а его собственной коллекцией пользовался для своих работ об античном мире Гете, бывший личным другом жены Голицына. Свой богатый минералогический кабинет Д. А. Голицын завещал Иенскому Ми-

нералогическому Обществу, председателем которого он состоял.

С Франклином у Голицына было много общих друзей, но завязал он с ним отношения в 1877 году, когда написал ему о своих опытах над атмосферным электричеством.

«Льщу себя надеждой», пишет Голицын, «что Вы не осудите моей смелости писать к Вам, не имея счастья быть с Вами знакомым. В качестве одного из самых искренних Ваших поклонников я считал, что могу позволить себе этот шаг. А любовь к наукам и интерес к их развитию дают мне право обратиться к Вам. Кто лучше Вас может судить правильны ли мои идеи о положительном и отрицательном электричестве и о способности притяжения полюсов?»

Вы видите, что я без всякого предисловия перехожу к сути дела, но я думаю, что комплименты у Франклина успеха бы не имели. Итак, я возвращаюсь к тому, что с моей стороны единственно может Вас интересовать».

Дальше идет чисто научная часть письма с наблюдениями и выводами Голицына. Специалисты могут судить о том, что нового внес русский ученый в эту область письмом к Франклину, а также докладом в Академию Наук, помеченным тем же годом, что и письмо. По случаю этого исследования Д. А. Голицын был избран членом Академии Наук.

Переписка Голицына с Франклином шла через французского военного историка Кералио, книгу которого об истории войны России с Турцией в 1769 году он издал со своими примечаниями. В одном из писем к Франклину Кералио напоминает, что Франклин обещал переслать через него свой ответ Голицыну. Сохранился ли этот ответ в архивах князя Голицына, трудно сказать, но во всём, что удалось установить, можно с уверенностью отметить следы его непосредственной научной связи с Франклином.



Особенно интересной следует считать встречу и переписку Франклина с княгиней Е. Р. Дашковой (1743-1810), явлением необычайным не только в русской, но и в европейской культурной жизни того времени.

«Дашковой», пишет Герцен, «русская женская личность, разбуженная Петровским разгромом, выходит из своего затворничества, заявляет свою способность и требует участия в деле государственном, в науке, в преобразовании России —

и смело становится рядом с Екатериной.

В Дашковой чувствуется та самая сила, не совсем устроенная, которая рвалась к просторной жизни из-под плесени московского застоя, что-то сильное, многостороннее, деятельное, петровское, ломоносовское, но смягченное аристократическим воспитанием и женственностью.

Екатерина II, делая ее президентом Академии, признала политическое равенство обоих полов, совершенно последовательное в стране, принимавшей гражданскую правомерность женщин, остающихся на Западе прикрепленными к мужьям или в вечном несовершеннолетии».

Жизнь Дашковой, о которой она оставила записки потомству, могла бы служить сюжетом для самого увлекательного романа. Крестница императрицы Елисаветы, племянница и воспитанница канцлера М. И. Воронцова, который позаботился дать ей блестящее образование, она в 17 лет достигла такой политической зрелости, что приняла участие в заговоре против Петра III и содействовала возведению на престол Екатерины II.

В 37 лет она стала президентом Академии Наук и Российской Академии, а перед этим, поражая воображение Европы, совершила два заграничных путешествия и познакомилась с самыми выдающимися представителями европейской мысли. О ней писали Рюльер и Дидро. Фридрих Великий, Мария-Антуанетта и герцог Орлеанский искали встречи с нею.

Нас в ее биографии интересует ее второе путешествие, во время которого и произошло, по всей вероятности, ее знакомство с Франклином.

«В 1780 году», пишет Старцев, «заканчивая свое второе заграничное путешествие, в Париж приехала кн. Е. Р. Дашкова, и ее знакомство с Франклином имело повидимому дружеский и сердечный характер. Еще в Шотландии она познакомилась с Адамом Смитом и историком Робертсоном, английскими друзьями Франклина, от которых, без сомнения, слышала о нем. «Я часто завтракала у аббата Рейналя», вспоминает она в своих Записках. Рейналь в это время готовил новое издание «Истории двух Индий», в которое должны были войти знаменитые главы о борьбе в Америке и, в частности, восторженная похвала Франклину. За его столом американские дела должны были стоять в центре внимания и «культ Франклина» исповедывался в полном блеске. Мало вероятно, чтобы Дашкова сочувствовала «инсургентам», но она любила быть знако-

мой с знаменитыми людьми. Возможно, что здесь и состоялось это знакомство, имевшее интересные последствия».

Найденные мною два неизданных письма Дашковой к Франклину, написанные во время ее пребывания в Париже, а также некоторые другие документы, дают иную картину этого знакомства. Если оно действительно состоялось, то не в 1780, как говорит А. Старцев, а в 1781 году, при следующих обстоятельствах:

21 декабря 1780 года амстердамский купец Невиль в письме к Франклину сообщает, что, будучи в Лондоне, друг Франклины, Темплъ, «поручил его заботам» рекомендательное письмо Франклину по поводу княгини Дашковой, «по его словам — любимицы императрицы». Дашкова настаивала на таком письме, но Невиль, как он сам пишет, лишь в последний момент узнал от князя Голицына, где она находится. Повидимому, письмо Невилля запоздало, и Франклин получил его тогда, когда Дашкова была уже в Париже. 24 января она пишет ему непосредственно из Парижа в Пасси, где он тогда жил:

«Княгиня Дашкова приветствует д-ра Франклина, надеется, что он благополучен и пересылает ему письмо, которое ее дочь получила от одной из своих подруг для Доктора. Печать немного повреждена, но это случается со всеми письмами, приходящими из Англии этой почтой.

Княгиня не может упустить благоприятного случая, чтобы не засвидетельствовать, как она была бы счастлива познакомиться с Доктором, которого она ценит, уважает и ставит так высоко».

По получении письма Франклин сейчас же отправился из Пасси в Париж навестить Дашкову.

В его дневнике сохранилась лаконическая запись от 26 января 1781 года:

«Поехал в Париж навестить княгиню Дашкову. Не стал дома».

Должно быть, он оставил Дашковой записку, т. к. 30 января она снова пишет ему:

«Княгиня Дашкова шлет благодарность д-ру Франклину за его милую записку и будет счастлива увидеть его 3 февраля, в субботу вечером, если это ему удобно».

Можно предположить, что 3 февраля 1781 года в отеле «де ля Шин», где остановилась и откуда писала Франклину Дашкова, и состоялось их знакомство, за которым последовали чрезвычайно важные события, — Дашкову избрали вто-

рым русским членом Американского Философского Общества, председателем которого был Франклин, а Франклин стал первым американским членом Императорской Академии Наук, где председателем была Дашкова.

Произошло это следующим образом: после вероятной встречи Дашковой с Франклином письменная связь их, повидимому, продолжалась. Франклин послал ей том трудов Философского Общества и огласил на заседании 6 февраля 1789 года письмо к нему Дашковой, в котором она благодарила его «за этот знак внимания». 17 апреля того же года Дашкову выбрали членом Американского Философского Общества и послали ей об этом официальное извещение вместе с письмом Франклина. Вот как рассказывает о получении этого пакета из Америки сама Дашкова в своих записках:

«Во время войны России со Швецией случилось со мной происшествие, не лишенное интереса. Я уже говорила о своем знакомстве с герцогом Судерманским, братом шведского короля. Этот принц командовал флотом. Вскоре после открытия враждебных действий он прислал переговорный флаг в Кронштадт, с письмом к адмиралу Грегу, прося его принять и передать мне небольшой ящик с письмом на мое имя. Адмирал, как иностранец и мой искренний друг, в войну считал себя обязанным поступить в этом случае с величайшей осторожностью. Он отправил посылку прямо в Государственный Совет. Императрица, почти каждый раз заседавшая в этом Совете, приказала отослать пакет ко мне, не распечатывая ни письма, ни ящика. Я жила в ту пору на даче и не без удивления услышала о приходе посла из Государственного Совета. Ящик и письмо были поданы: в первом заключалась посылка доктора Франклина, второе было очень вежливым извещением со стороны герцога Судерманского, о том, как моя собственность, вместе с пленным кораблем, перешла в его руки.

«Не изменив нисколько чувству уважения», прибавил он, «которое Вы внушили мне после первого нашего знакомства на водах Спа, я не думал, что война, так неестественно поссорившая двух государей, могла нарушать частную дружбу. Потому я поспешил отправить посылку в собственные Ваши руки».

Отпустив подателя, я сказала ему, что немедленно сама явлюсь во дворец и донесу государыне о свойстве принятых депеш. Согласно с тем, я отправилась в город, или лучше, прямо во дворец. Вошед в гардеробную императрицы, я просила дежурного лакея доложить Екатерине, и, если она не

занята, позволить мне видеть ее и показать некоторые бумаги, полученные мной утром. Императрица приняла меня в спальне, где она работала за письменным столом. Передав в ее руки письмо герцога Судерманского, «а другие бумаги», сказала я, «от доктора Франклина и от секретаря Философского Общества Филадельфии, в которое я принята, вовсе не по заслугам, одним из членов».

Пакет из Филадельфии дошел до Дашковой, надо предполагать, летом 1789 года, а 2 ноября того же года на заседании Академии Наук, «когда кн. Дашкова узнала с удивлением», как гласит протокол этого заседания, «что знаменитый Вениамин Франклин не был включен в число иностранных членов Академии, его кандидатура была внесена секретарем по предложению ее сиятельства, после чего этот почтенный и знаменитый ученый получил все голоса и был единодушно принят».

О принятии Франклина в члены Академии Наук Дашкова известила его письмом от 4 ноября 1789 года.

Свою же благодарность за избрание ее в члены Философского Общества Дашкова послала в Филадельфию 2 августа 1791 года, уже после смерти Франклина, вместе с книжными пожертвованиями для библиотеки общества.



С легкой руки Дашковой детище Франклина вошло в постоянное тесное общение с русскими научными обществами и с отдельными представителями русской культурной мысли.

За двести с лишком лет существования Американского Философского Общества длинной вереницей проходят в переписке с ним такие выдающиеся деятели русской культуры и общественности, как граф Н. П. Румянцев, И. Ф. Крузенштерн, П. И. Свиньин, П. И. Полетика, А. А. Дегуров, граф Е. Ф. Канкрин, А. К. Казем-бек Ф. Г. Струве и другие, вплоть до профессоров А. П. Карпинского, И. П. Павлова и М. И. Ростовева.

Но о них и об их связи с американской культурой я постараюсь рассказать в следующих номерах этого журнала.

Нью-Йорк,
17 июля 1946 года.

ПАРИЖСКИЕ ПОЭТЫ

После нескольких лет разлуки с Европой мы с особенным вниманием вчитываемся сейчас в произведения русских писателей, доходящие до Соединенных Штатов из Европы. Мы ищем в них ответа на вопросы, имеющие не только литературное значение. Как отразились страшные годы войны и оккупации на русских людях во Франции, бывшей культурным центром эмиграции? Произошли ли какие-нибудь сдвиги в психологии ее поэтов, прозаиков и критиков, в их отношении к самим себе, к миру, к России? Как повлиял на их творчество потрясающий опыт последних лет? Неужели ничего не изменилось, и в 1946 году они пишут точно так же, как и в 1938, лишний раз доказывая, что «под лежащий камень вода не течет?» Или же в их рассказах, стихах и статьях можно все же уловить хотя бы косвенные признаки и внутреннего роста и художественного обновления?

Имеющегося в нашем распоряжении материала едва ли достаточно для окончательных выводов, но и в нем есть некоторые любопытные указания.

Первыми литературными вестями из Парижа были стихи, и даже книжки стихов. Среди русской парижской «молодежи» (которой теперь в среднем за сорок лет) поэты всегда преобладали над прозаиками, и в парижских кружках и группах в формальном отношении «культура стиха» стояла обычно на довольно высоком уровне. Это доказывают и сейчас отдельные дошедшие до нас стихотворения А. Ладинского, Г. Иванова, В. Андреева, М. Струве, Ю. Терапиано и ряда других. Это также подтверждают три сборника стихотворений, выпущенных в нынешнем году А. Присмановой, В. Мамченко и Г. Раевским.

«Близнецы» Анны Присмановой, пожалуй, самый своеобразный из этих сборников. В нем чувствуется резко очерченная индивидуальность автора, большая выдержанность и то единство дыхания, которое придает книжке крепость и цельность. Сборник «сделан» с такой последовательностью и планомерностью, что кажется не литературным, а архитектурным построением. Впечатление от него двойится, книжка одно-

временно и привлекает и раздражает. У меня лично некоторое чувство досады вызывает резонерство автора, на каждой странице преподносящего сентенции вроде: «Мы зрячи и слепы наполовину, разумны и безумны пополам»; «рост сердца начинается от муки, лишь слезы научают нас письму». Однообразие ритма и однотипность стихотворений превращают серию таких афоризмов в утомительное собрание прописей. Поэзия Присмановой — умственная, и заключена она в затейливый стих со словесной игрой, с подчеркнутыми «тяжелыми» оборотами и даже архаическими речениями, с развернутыми сравнениями аллегорического порядка («душа усталых как бы мастерская, в которой память — первая швея»). Можно любить или не любить этот отвлеченный стиль с его явными приемами (начиная от игры аллитерациями и кончая «подсушиванием» стиха для избежания сентиментальности), но надо признать, что Присманова строго ему следует, что у нее плотный словесный материал, что образы ее даны в логической и поэтической последовательности, связаны в тугой узел. В стихотворениях Присмановой нечего искать напевности, неразоблаченности, темного лирического порыва: у нее все очень рассудочно, отлично слажено и очень (слишком!) ясно.

Тема книги раскрыта с первых же строк:

В моей природе два начала,
И мать, баюкая меня,
Во мне двух близнецов качала:
Кость трезвости и кровь огня.

Чтобы преодолеть это раздвоение, Присманова обращается к музыке, но кость явно преобладает у нее над кровью, не давая ей возможности отдаться жизни. В мире она чувствует себя, как водолаз, снабженный трубкой для искусственного дыхания, и где-то на подводных глубинах ощущает свою непри приспособленность и одиночество: «Я жизни придаю значение, но жизнь над пламенем костра как дым уходит в отвлечение». Все попытки оправдать себя «преемственностью», найти себя в других воплощениях в прошлом, оказываются тщетными, неспособность к деятельному существованию становится все очевиднее, и поэт вынужден признать свою неудачу: «Я не живу, я нахожусь на свете проездом через собственную жизнь» («Поезд»). Напрасно в стихах, посвященных сестрам Бронте, она утешает себя: «Вдохновенье, знание печали

и время неудачников спасут». Все определеннее выступает у нее мотив собственной обреченности. Личная тема двойственности и отрыва от мира разворачивается во втором плане в тему поэта, не могущего жить обычным существованием, потому что он вдохновляется словами («слова, убийцы дней моих», его сердечные землетрясения — тоже бури слов) и не может освободиться от плена музыки — дающей знак об ином мире. «О, музыка, не ты ль мне жить мешала, не ты ли мне поможешь умереть».

Как трубач, которому дано земное ухо «и губы бренные дабы он мог итти дорогой духа посредством духовой трубы», — поэт осуществляет свое призвание путем отрешенности, самоуглубления и муки. Трудна его жизнь, темен его путь, его ужасает и жизнь, и смерть, и вся песнь его — это крик о жажде и ее неутолении, звучащий точно вой сирены (очень сильное стихотворение «Сирена»).

«Близнецы» заканчиваются пьесой, в которой Присманова как бы оправдывается в том, что заполнила книгу «словами о себе»:

Мы все проходим чрез себя,
Чтоб постепенно выйти к миру.

Эти заключительные строки не звучат как надежда или обещание. Быть может Присманова тоскует по участию в жизни, но она неспособна на него, и до ее метафорического подполья не доходят стоны жертв, гром войны, и шум борьбы или суеты. Только в одном стихотворении об Оке, Волге, Сталинграде поэт пытается отозваться на то, что вне его.

Тот же мотив, хотя по иному, звучит в книжке Виктора Мамченко «Звезды в аду». Его лирика гораздо более непосредственна и менее организована, чем «философический имажинизм» Присмановой, но она и менее самостоятельна. Влияние ряда современных поэтов (в том числе Мандельштама и Пастернака) не нарушает несомненного своеобразия «Близнецов». У Мамченко же ряд пьес и отдельных строф звучит, как подражание. Я знаю, что поэты всегда спорят с критиками по вопросу о влияниях и с обидой отвергают упреки в несамостоятельности. Действительно, определить что именно в том или ином стихотворении навеяно литературными образцами, не слишком легко. Иногда собственные переживания поэта, идущие из глубины его личного опыта, выражены

совершенно бессознательно в размерах и образах, использованных другими; иногда в нем звучат чужие голоса, а он считает, что это его собственная песня, особенно, если в чужих словах и напевах — схожие или параллельные думы и настроения. И, наконец, в каждую эпоху есть мелодии, ритмы, сравнения, носящиеся в воздухе, составляющие поэтическую атмосферу определенного периода или известной школы — и автор, сам того не зная, заимствует и повторяет общие мотивы.

Это именно и случилось с автором «Звезд в аду». Я не знаю, думал ли он о Баратынском, когда писал свои трехстишия:

Рассудок царственно, величьем равнодушья
Чуть смысл глуша,
Глядит и ждет — когда падет в удушья
Его душа,
Когда она, в бессильном возвращеньи,
Остывших глаз,
Покорствуя, сорвется отвращеньем
В последний раз.

Но читатель, знающий «На что вы дни! Юдольный мир явления свои не изменит», конечно, вспомнит Баратынского, читая Мамченко. Он вспомнит также Лермонтова, Блока и «Двенадцать» (в «Ярмарке» Мамченко есть такие строки: «ах, ах, погоди, что то будет впереди», «ну-ну, подходи, все на свете пропади»).

Стихи Мамченко неровны, форма их невыдержана, и у него постоянные неожиданности: то он очень тщательно подбирает аллитерации («ведуним ветром веки овевая»), то вдруг допускает срывы и в рифмах, и в словесном материале. И все же, несмотря на отсутствие мастерства, на многословие, на неудачи, какое-то настоящее поэтическое волнение живет в некоторых страницах книжки. Оно воплощается с трудом, как бы пробиваясь сквозь непроясненные образы, сквозь все эти «горные океаны», «лунные поляны» и «полночные страны», преодолевая романтизированный словарь, борясь с разрозненностью и хаотичностью. Но порою, среди тусклых или шаблонных слов, вдруг блеснет удача яркой строфы или даже целого стихотворения («Стихает день в мерцаньи паутин», «Романтика», отдельные строфы в «Детстве», «Навождении», «Трехстишиях» и др.).

Мамченко правильно выразил сущность своего творчества в следующих типичных для него строках:

Кричу неистово колеблющейся тверди,
О чем кричу, не знаю сам тогда, —
О царствии, и что сильнее смерти,
О счастье, кажется, сейчас и навсегда.

В этом крике — ощущение сиротства и бездомности. «Куда теперь, сквозь ветер и тоску?» Есть что-то человечески трогательное в этом вопросе поэта, погибающего в темном мире от одиночества, пустоты и собственного бессилия. Его порыв к «возвышающей романтике», к «звездам», мелькающим над адом, нередко выражен глухим стоном, почти воплем отчаяния.

И отвлеченные образы Присмановой, и непросветленные лирические метания Мамченко проникнуты духом безнадежности. В известном смысле им можно противопоставить сборник Георгия Раевского «Новые стихотворения», в котором поэт ищет разрешения всех мук и тревог в пантеистической примиренности.

У Раевского негромкий и несколько однообразный голос, его попытки расширить основную тему не всегда удачны, но стихотворения его подкупают чистотой тембра, благородством тона и прозрачной, порою чуть наивной ясностью. Это скромная «Камерная» поэзия, идущая из глубины и обладающая зачастую подлинными песенными достоинствами.

Раевский тяготеет к поэзии «мирового дыхания», его учителями были Гете и Тютчев, а в формальном отношении германские романтики и поэты пушкинской плеяды. Но основной мотив сборника — элегия Жуковского, и преобладают в нем две темы: илиллиия лирического пейзажа и умиленное приятие мудрого закона бытия.

Раевский подчеркивает, что «все благо» в высоком строе мира, в мощном и таинственном круговороте, в который входит и шкурка мертвого крота, над которой размышляет поэт, и волшебные видения искусства. Смерть роднит человека с землей, все устроено «мудро и дивно, мгла и холод, и свет и тепло». Мудрость Раевский открывает в простых радостях земли, в малом, почти домашнем, и в описаниях его постоянны образы бабочки, лепестка, цветка, вообще, микрокосм. Он больше любит синевою небес, если она отражается в

капле воды, а не в широкой глади моря. Малое умиляет его, отвечает его тяге к благодати, к растворению в природе. Рассвет на полях, тишина заката — внутренне связаны с его мироощущением; оттого же у него «белый дым зимы» и неизменная «прохладная осень с паутинками».

В «медитациях», к которым он весьма склонен, порою излишне подчеркивая их несложный и слишком явный символизм, Раевский проповедует «смирennemудрие». Это опять-таки философия «умной простоты», «холодной и прекрасной синевы», откуда тишина нисходит к измученным сынам земли (и слово, и образ «тишины» все время повторяется в книжке). Она связана у Раевского с «высокими темами» религиозного восприятия жизни. Нет сомнения, что он стремится к «религиозному просветлению» и к мистической настроенности, но в этой области у него гораздо больше желаний, чем достижений. В его стихах на религиозные темы — библейские и христианские — опять-таки преобладает идиллия деревенского храма и сельского кладбища. В лучшем случае — это суховатый символизм «блудного сына», русской соборности и апостольских времен. Явно подражательны пьесы, повторяющие тютчевское «так отчего же в общем хоре душа не поет, что море, и ропшет мыслящий тростник».

В стихотворении Раевского, помещенном в «Русском сборнике» (Париж, 1946) он говорит о бедной земле: «Отчего бы ей, как прочим, не вступить в согласный хор, не запеть во мраке ночи средь серебряных сестер? Отчего, когда смеются и ликуют небеса, лишь с одной нее несутся жалобные голоса?»

Эти настроения выражены у Раевского в мерных правильных строфах, иногда очень хорошо построенных (напр., «Спит и во сне почти не дышит», «Истлевший кокон покидая» и др.) и почти стилизованных в духе тридцатых и сороковых годов прошлого столетия. Стихотворения, посвященные современности (а некоторые из них совсем не плохи, напр., о гибели Европы, о России), стоят в сборнике особняком и не включаются в общую связь. Автор точно нехотя платит дань времени, но остерегается, чтобы волнения мира не поколебали его «благостной созерцательности». Война, победа, свобода, плен — в общем мало его интересуют: «Мы — те, кто падает и стонет, и те, чье нынче торжество, мы — тот корабль, который тонет, и тот — кто потопил его». Быть может, в реальной жизни Раевский очень больно переживает

человеческие крушения и отнюдь не приравнивает палачей к жертвам, но в своем сборнике он становится на позицию «высокой объективности», ведущей к «великолепной обособленности».

«Земное, непрочное племя, все вновь превращаешься ты, когда исполняется время, — в растения, камни, цветы». А если таков закон круговорота, то нечего волноваться, — даже, когда «душе невыносимо бремя» дикой злобы, и в смутных днях противны «лживый звук и отзвук лживый подозрительных речей». Не следует преувеличивать значение людских дел:

К чему же над новою Троей,
которую время опять
своей заполняет волною,
нам плакать и руки ломать?

И поэт возвращается к зеленеющим равнинам, на которых пасутся овцы, к мирному течению реки, окаймленному золотым тростником, к покою заката над тихими полями. Лицо его вновь озарено «благодарной улыбкой и светлой слезой».

Любопытно, что именно Раевский в ряде стихотворений откликается на испытания последних лет. Но упоминает он о них лишь для того, чтобы подчеркнуть свой уход в «монастырь природы». Он отрекается от жизненной борьбы и презирает земные битвы.

Повторяю, нельзя делать выводов на основании трех сборников стихотворений парижских поэтов. Но все-таки очень характерно, что три поэта, совершенно различных и внутренне и стилистически, в общем приходят к одному и тому же выводу: к отказу от участия в жизни. Присманова грустит о своем раздвоении, настолько тяготеющем над ее сознанием, что она способна лишь к самоуглублению и игре словами; Мамченко, в сущности, повторяет мысль Сологуба—«Мы плененные звери, голосим, как умеем»; а мягкий и в основе своей здоровый Раевский спасается от всех противоречий в бегстве в «умиление».

Если эти высказывания типичны для русских литераторов во Франции, то это означает, что эмигрантские писатели по-прежнему ощущают себя в том искусственном, нереальном пространстве, в котором нечем дышать и о котором они говорили в стихах и прозе в течение многих лет. Что бы ни происходило в мире, они чувствуют себя бесприютными скитальцами, изгоями.

В стихотворении «1945», описывающем празднование победы на Елисейских полях («Русский сборник») Л. Червинская высказывает это с предельной откровенностью:

Эх, хорошо, что кончилась война,
Что празднуют свободу и победу.
На торжество разобраны места
(Герои фронта, тыла и изгнания).
Да. А для нас свобода — нищета
И одинокий подвиг созерцанья.

Нищета, одинокое созерцанье, отрешенность от земных благ и «прозябание» вместо действительной полноты жизни определяли основное содержание эмигрантской литературы и десять лет тому назад. Произведения парижских поэтов указывают, что и сегодня немного изменилось в этом отношении. Сдвигов и новых идей, очевидно, надо искать в прозе, и в следующем номере «Новоселья» я выскажу ряд замечаний о рассказах и статьях, помещенных в только что вышедшем в Париже «Русском сборнике». В нем, во всяком случае, затронуты некоторые стороны современности, которых не желают замечать или о которых не хотят говорить очень многие русские поэты, находящиеся во Франции.

МОРАЛЬНОЕ БЕСПРАВИЕ

С уверенностью можно сказать, что нет вопроса более мучительного, морально-изнуряющего, чем вопрос о судьбе евреев в Европе. Оставим в стороне рассуждения о происхождении и развитии антисемитизма, в разных странах имевшего свой специфический характер. Оставим в стороне и политический аспект вопроса. Как далеки уцелевшие в Европе евреи от многоумных и тонких политических рассуждений! Европа теперь вся в движении: из одной страны в другую переселяют миллионы людей, поколениями живших на земле, где покоится прах их отцов. И среди движущейся миллионной массы вы видите оборванных, исхудалых евреев, не знающих, куда им прибиться.

Все усилия благотворительных обществ, все миллионы долларов, что затрачивались на помощь евреям, лишь в незначительной мере в состоянии облегчить нужду. Это — с точки зрения материальной. Но есть и другая сторона — моральная. Остались десятки тысяч детей, родители которых погибли в газовых печах или были замучены в немецких концлагерях в Германии, Польше, Чехословакии. Я видел прекрасные дома, где сгруппированы эти чудом уцелевшие дети. Но могут ли общежития заменить матерей?

И эту сентиментальную часть предадим забвению. Есть вопрос, требующий особо-внимательного изучения; это вопрос о скрытом, тем более глубоком антисемитизме, которым охвачена Европа. Я заранее отвергаю возражение, что ни одна политическая партия не выставляет антисемитизма в «параграфах» своих программ. Конечно! В данный момент это было бы просто глупо. **Теперь** это неудобно. А что может произойти через десять лет — этого никто не знает.

Вот уже два года прошло со времени разгрома немцев. Одним из первых актов правительства во Франции было автоматическое упразднение исключительных законов, введенных немцами. Тем самым (и это было указано) уничтожались законы об евреях. Последние имели право на возврат им квартир, мастерских и пр. И много месяцев кряду длятся судебные

процессы, которым и конца не предвидится. Ибо еврей, желающий получить отобранную у него швейную машину или сапожные инструменты, не может установить, кто отобрал и является собственником награбленного. Да, это вопрос сложный. С 1941 г. по 1944 г. имущество евреев продавалось либо с торгов, либо данному лицу «временным администратором» этого имущества. Приобретший еврейское имущество продавал его другому лицу, тот — третьему и т. д. Но голодный портной находит, наконец, свою швейную машину. Он никогда не сможет установить, что теперешний собственник его машины обязан вернуть ее, так как через А, В, С, машина путем **законным** попала к D.

Правительство запрашивалось неоднократно. Его просили, и настойчиво, специфицировать положение о *spoliation*: оно осталось глухо. Социалисты, коммунисты, М. R. P., радикалы — все огорчаются, вздыхают, соболезнуют... А оборванный еврей продолжает бегать по канцеляриям и судам. Конечно, еврейское дело «маленькое». Немцы повергли Европу в такой хаос, что думать об евреях особо не приходится. Вот общий ответ. На это я возразил одному умному и влиятельному французу, что на 40 миллионов его соотечественников погибло менее двух миллионов, а на семь миллионов евреев в Европе уничтожено более пяти: не такое «маленькое» дело! Немного подумав, француз ответил: «Да, но у нас разрушена страна!» Так теория государства доминирует над фактом человеческой жизни.

Обет молчания, который приносят, как клятву, монахи-трапписты, принесла теперь Европа. Самые левые органы не хотят ничего печатать об евреях. Вы можете только контрабандой упомянуть о них. Об этом я знаю по собственному опыту. Один писатель показал мне письмо от редактора передового органа, в котором говорилось, что по еврейскому вопросу, как «частному», он печатать ничего не будет.

В Голландии, в Бельгии, в Греции — явление того же порядка.

Разговоры в метро, в поездах, на базарах невольно задерживают внимание. С каким жаром люди заявляют, что они дрались и несли жертвы не для того, чтобы евреи опять вернулись к ремеслам и торговле. И всё потому, что ограбленные евреи хотели бы войти во владение имуществом, у них отобранном. Да, для многих это вопрос шкурный. Сотни тысяч человек за бесценок завладели еврейским имуществом.

Отдавать награбленное не так то легко. В течение почти двух лет я разбираю архивы, касающиеся уничтожения и разорения евреев. Я вижу **десятки тысяч** просьб и заявлений врачей, инженеров, адвокатов, дантистов, заводчиков, торговцев, ремесленников, которые хлопотали о продаже им по «сходной» цене движимого и недвижимого имущества евреев. Имеются сотни просителей, указывающих, что они антисемиты, что даже отцы их состояли в лиге Дрюмона и были антидрейфусарами. Подлость человеческая превосходит даже наше о ней представление. И сколько тысяч евреев, благодаря этим просьбам-донасам, было арестовано, отправлено в концентрационные лагеря и там погибло, — об этом свидетельствуют архивы «Комиссариата по Еврейским делам» и отеля «Мажестик».

Это происходило во всех странах, оккупированных немцами. И во всех этих странах образовался могучий слой населения, который на евреях разбогател, на их крови окреп, и который поэтому не хочет лишиться «благоприобретенного». Для этого обширного класса людей антисемитизм является источником их благосостояния и, одновременно, средством самосохранения. В странах придунайских и на Балканах, где еврейское население вырезали почти поголовно, дело несколько проще: там ведь осталось так мало евреев, могущих претендовать на «ввод во владение» их бывшим имуществом!..

В формах религиозных антисемитизм существовал повсюду: его следы видны уже в языческом Риме. Европа, вышедшая из средневековья, осуждала это явление, как противное духу церкви и христианской морали. Мы знаем, что в XIII и XIV веке отдельные папы порицали преследования евреев, но, вообще говоря, только с XVII века антисемитизм начинает трактоваться, как течение антихристианское и аморальное. Одним из главных пунктов обвинения против сожженного Джордано Бруно было то, что он не признавал еврейского происхождения Христа и отвергал Ветхий Завет.

Великая Французская Революция и затем Наполеон легализовали новое отношение к евреям. Но антисемитизм отнюдь не исчез: он принял формы более «гуманные». Изменились законы, смягчились нравы, но не исчез атавизм. Во всяком случае, евреи рассматривались, как люди, подлежащие **общей** юрисдикции.

Гитлеризм создал новую психологию. Невежественное учение о расовых свойствах, о наследственности крови (из

давно отвергнутой теории Аристотеля), «все, что мы знали по Гобино и Чемберлену, как и культ «героического» (по извращенному Карлейлю), снизили еврея. Последний предстал перед поработенной Европой, как человек нисшей расы, как вредное существо, подлежащее уничтожению. Тот факт, что миллионы этих вредных существ уничтожались, в то время, как другие поработенные находились в значительно лучших условиях, и создало в этих последних уверенность, что они гораздо лучше евреев. Средний человек находит синтез по преимуществу в сравнении.

Завершена страшная полоса тирании, войны, упоения победами — с одной стороны; унижения — с другой. Европа избавилась от постоянного кошмара. Но евреи остались в том же тяжелом положении. Им не предоставляется возможность (за ними остается «право») возвратиться к прежним занятиям, для них закрыт путь в Палестину, их не пускают и в другие страны. Какой вывод может сделать человек, уже зараженный ядом антисемитизма? Единственный: евреи всюду нежелательны, всеми отвергаются, они ниже, хуже других народов. Законы, точнее практика их, рассматривает еврея, как существо нисшего порядка. Таковы последствия настоящего положения вещей.

Будем справедливы: антисемиты по своему правы. За годы войны и германского террора Европа ждала (а евреи в особенности), что зло, насажденное Гитлером, будет искоренено, что справедливость, как она понимается массами, будет восстановлена, что человек возродится в новом блеске. Да, если многие из нас еще существуют на земле, то потому, что не потеряли веры в человека и в правду. Что же получили мы за эти два года? Ничего, почти ничего, кроме разбитых надежд. Но от нацизма осталось наследство, от которого не так то легко избавиться. И одним из даров его является антисемитизм в диких формах, для которого почва отлично подготовлена. Борьба против современного антисемитизма, культурная и религиозная, во многих странах просто отсутствует. Отдельные люди, выступающие иногда с проповедью отречения от вредных идей, не могут воздействовать на психологию толпы. Для большинства евреи были и остаются теми, кого можно безнаказанно разорять и истреблять. Разве в этом констатировании существующего порядка «беззакония» не кроется одна из главных причин антисемитизма?

Не могу и не хочу делать никаких выводов; они и без

того ясны читателю. Но одно замечание необходимо: евреи являются тем меньшинством, чья защита возлагается на государства, в которых они пребывают. Но эта «защита» — какое подлое слово в применении к людям! — не может быть специфически покровительственной. Это тропических бабочек можно «защищать» искусственной температурой. В пределах той или другой страны еврей — обычный гражданин. Казалось бы, это аксиома, но ее часто забывают в теперешней Европе. Только на бумаге, по букве закона еврей является там гражданином... Поэтому на государства возлагается обязанность действиями власти создать атмосферу **морального равноправия**. Тогда, быть может, антисемитизм сойдет на нет. Благоприятные результаты не преминут сказаться и в вопросе о Палестине, куда евреи смогут въехать не как просители, которым можно и отказать, а как морально — равная сторона.

А. Н. МАНДЕЛЬШТАМ

РОССИЯ XX ВЕКА ПЕРЕД ТУРЕЦКИМИ ПРОЛИВАМИ

А. Н. Мандельштам, автор печатаемой ниже статьи, написанной специально для «Новоселья», является одним из крупнейших знатоков международного права и русско-турецких отношений. В течение 16 лет он был первым драгоманом русского посольства в Константинополе (1898-1914 гг.). Переехав в Париж, он посвятил себя научно-литературной и профессорской деятельности и неоднократно принимал участие в международных конференциях. Во время второй мировой войны А. Н. Мандельштам написал большой труд о царствовании Абдул-Гамида. Эта книга, в ближайшем будущем выходящая в свет, представляет собой обвинительный акт против деспотизма и насилия.

В в е д е н и е

Прежде чем приступить к краткому обзору русской политики XX века в турецких проливах, нам кажется уместным напомнить в нескольких словах о положении в Черном море России XVIII и XIX столетий.

Петру Великому не удастся добиться от Султана открытия русскому мореплаванию Черного моря, которое до его смерти остается турецким озером. Русские торговые суда получают право плавания в Черном море и прохода через проливы только при Екатерине II, по Кучук-Кайнарджийскому трактату 1774 года. Но в силу «древнего правила Оттоманской Империи», проливы в мирное время закрыты для военных судов всех наций.

Несмотря на неоднократные победы своего оружия над

турками, Россия первой половины XIX века не желают падения Османской Империи. В 1829 году Николай I учреждает под председательством князя Кочубея особый комитет для изучения турецкого вопроса. Комитет, исходя главным образом из желания иметь на Босфоре **слабого** соседа, выносит следующее единогласное заключение:

«Что выгоды от сохранения Османской Империи в Европе превышают невыгоды; что, следовательно, ее разрушение будет противно действительным интересам России; что, поэтому, благоразумие требует предупредить ее падение...»

Но, с другой стороны, комитет добавляет, что если наступит последний час турецкого владычества в Европе, русское правительство обязано будет принять самые энергичные меры, чтобы вход в Черное море не был захвачен какою-либо великой державой.

Эти заключения одобряются Николаем I.

В 1883 году Султану грозит опасность от восставшего против него египетского паши Мехмета Али, войска которого через Сирию подступают к Константинополю. Султан просит помощи у императора Николая, и 8 февраля 1883 года эскадра адмирала Лазарева высаживает русские войска в Хункиар-Искеллеси, на азиатском берегу Босфора. Египтяне прекращают свое наступление, а 26 июня в том же Хункиар-Искеллеси заключается русско-турецкий оборонительный союз. По секретной статье этого договора помощь, которую Турция должна оказать России, заменяется закрытием проливов для иностранных военных судов.

В 1941 году «старое турецкое правило» закрытия проливов для военных судов иностранных государств возводится знаменитой **«конвенцией о проливах»** в начало международного права: его признают Турция, Россия, Англия, Франция, Австрия и Пруссия.

Поражение, которое западные державы наносят России в Крыму, приводит к Парижскому миру 1856 г., нарушающему русский суверенитет в Черном море. Море это объявляется **нейтрализованным**. Оно недоступно не только для военных судов непримиримых стран: даже Россия и Турция, страны прибрежные, лишаются права содержать в нем военные флоты! Однако, уже в 1870 году Россия отказывается от наложенного на нее униженного сервитута.

По Лондонскому трактату 1871 года, который отменил нейтрализацию Черного моря, закрытие проливов для иностранных военных судов остается в силе, но по II статье Сул-

тан получает право открывать их для судов дружественных и союзных стран, если это представляется ему необходимым для исполнения постановлений Парижского мира, обеспечивающих целостность Оттоманской Империи.

Наконец, Берлинский трактат 13 июля 1878 года подтверждает *status quo ante* в проливах, установленный второй статьей Лондонского трактата 1871 года.

КАНУН XX ВЕКА

Мы подошли таким образом к концу XIX века, и в этом кануне XX столетия мы сразу наталкиваемся на настоящий исторический клад, завещанный нам одним из самых замечательных русских дипломатов **Александром Ивановичем Нелидовым**. Он состоит из двух записок посла о проливах, из коих первую (1882 года) он представил Александру III, а вторую (1896 года) Николаю II. Записки эти с одной стороны являются авторитетным комментарием русской политики в проливах в течение XIX века, а с другой определяют цели нашей политики и обсуждают способы их достижения в будущем. Прежде чем перейти к изложению нашей политики в XX веке, мы считаем безусловно необходимым дать краткий обзор нелидовских записок, а также отметить участь, которую правительство уготовило планам своего посла в Царьграде*).

Записка А. И. Нелидова 1882 года

Главные тезисы записки 1882 года следующие.

«Что касается до России, то кажется уже излишне настаивать на громадной исторической важности, почти необходимости для нас утверждения на проливах (помета Александра III: «Да»). Не только материальные и коммерческие интересы наши и наша военная безопасность на юге были бы ограждены этим, но мы получили бы сразу на востоке политическое положение, какого не могли бы достигнуть иным путем. Держа в руках узел путей из балканских стран в Азию и обратно, мы приобрели бы решающее влияние на судьбы Балканского и Малоазиатского полуостровов. Вопрос об освобождении

*) Записки А. И. Нелидова напечатаны в **Красном Архиве**, изд. центрархива в 1931 году, томы 46, 47 и 48.

христиан и о самобытном развитии славянских народностей Турции разрешился бы сам собою».

Но как овладеть проливами? Записка не забывает, что западные державы всячески стараются помешать России в достижении ее исторической цели. «Из этого для нас является настоятельно необходимым предупредить наших соперников и принять все меры к тому, чтобы в данную минуту, когда обстоятельства представляются к тому особенно благоприятными, или опасность чужого занятия станет слишком близка, мы могли наверное, с полным залогом успеха, сами утвердиться на проливах». Помета Александра III: «Это главное».

На подлиннике этой записки Александр III сделал следующую помету: «Все это весьма дельно и толково. Дай Бог нам дожить до этой отрадной и задушевной для нас минуты! Я не теряю надежды, что рано или поздно, а это будет и так должно быть! Главное, не терять времени и удобного момента. А.»

Александр III в течение всей своей жизни не изменил своим воззрениям на задачи России у входов в Черное море. Об этом свидетельствует, между прочим, письмо его генерал-адъютанту Обручеву от 12/24 сентября 1885 года, в котором читаем: «По моему, у нас должна быть одна главная цель: это занятие Константинополя, чтобы раз навсегда утвердиться в проливах и знать, что они будут постоянно в наших руках. Это в интересах России и это должно быть наше стремление; все остальное, происходящее на Балканском полуострове, для нас второстепенно».

Записка 1896 года

Вторая записка А. И. Нелидова, представленная им императору Николаю II (18 ноября 1896 г.), составлена им после 14-летнего пребывания в качестве посла на берегах Босфора и под свежим впечатлением резни армян, возобновление которой он считает вполне возможным. Посол рисует положение Оттоманской Империи самыми мрачными красками. Надеяться остановить разложение было бы тщетным. В частности, с армянским движением Султан не мог бы справиться, если бы и желал, ибо с одной стороны он под угрозой армянских революционеров, с другой — должен считаться с фанатизмом турок, не допускающих никаких реформ для армян Империи. Но и независимо от армянского движения вся страна пребы-

вает в состоянии смуты, вызванной тем же Султаном, правление которого посол клеймит следующими словами:

«Султан и не желает, да и не может остановить проявления диких страстей в народе и самого беспощадного и безобразного произвола в правительственных средах, особенно в провинциях». Не исключена возможность его низвержения.

Существует поэтому возможность **насильственного** вмешательства... Конечно, не совсем исключено и вмешательство **мирное**, «если бы великие державы условились при помощи совместного давления заменить постепенно турецкую администрацию и власть международной, т. е. поставить в проливах вместо Турции — Европу... Но при таком разрешении затруднений создавалось бы невыносимое положение для России: ее существенные интересы были бы принесены в жертву Европе, ее безопасность в Черном море, а равно и сообщение с Средиземным навеки были бы утрачены, ибо установившись на проливах, великие державы несомненно поспешили бы там прочно основаться, и только одна шестая этой общей силы и власти принадлежала бы нам».

«Ясно, продолжает посол, что мы не можем допустить, чтобы у ворот наших на проливах утвердилась Европа, или, чтобы сильные военные суда, будь то хоть по одному от каждой великой державы, подошли к Константинополю, без того, чтобы мы предварительно оградил свою безопасность в Черном море, укрепившись на Верхнем Босфоре... Для этого нам нужно, чтобы при соблюдении строжайшей тайны, флот и десант постоянно были наготове...»

Особое совещание 23 ноября 1896 года

Вторая записка А. И. Нелидова обсуждалась **Особым Совещанием** под председательством Николая II, 23 ноября 1896 года. Совещание это вынесло постановления в духе записки посла, который участвовал в ее обсуждении.

Постановления эти предписывали послу изыскать, вместе с представителями держав, «средства для упорядочения и поддержания Оттоманской Империи... тщательно избегая, однако, тех мер, которые клонились бы к установлению международных порядков на берегах проливов»... «Но если Султан воспротивился бы принятию предложенных ему мер, или оттягивал бы под разными предлогами их осуществление, то послу нашему следует путем доверительного разговора с представителями других держав, выяснить заблаговременно, к какому

именно способу принуждения их правительства предполагают прибегнуть». Если таким способом окажется морская демонстрация в Мраморном море, «мы не могли бы согласиться на вступление значительного числа иностранных судов в Дарданеллы, не заняв одновременно Верхнего Босфора». Если же чрезвычайные обстоятельства поведут к **внезапному** появлению перед Константинополем иностранных эскадр, **без предварительного** соглашения послов, то «послу предоставляется, в крайнем случае, предупредить **непосредственно** главного командира Черноморского флота о необходимости немедленной высылки эскадры с десантом в Босфор».

В заключение Совещание предусмотрело даже возможность личного соглашения Султана с Россией! «Во всяком случае, при отплытии Черноморской эскадры из Севастополя в Одессу, послу поручается предупредить Султана о последовавшем бесповоротном решении и предложить ему ручательство России за его личную безопасность, если он согласится содействовать или, по крайней мере ничем не препятствовать входу русских судов в Босфор и занятию десантом некоторых пунктов на обоих берегах проливов для ограждения прохода в Черное море». **«Навсегда»**, приписал Николай II.

Отказ русского правительства от нелидовских планов

Однако, несмотря на постановление Совещания 23 ноября и высочайшее «навсегда», план Нелидова не получил ни малейшего осуществления. Вскоре после Совещания французский министр Иностранных дел **Ганото** предложил великим державам предписать своим константинопольским послам принять к руководству следующие три пункта:

1) Сохранение неприкосновенности Оттоманской Империи; 2) отказ от всяких сепаратных выступлений и 3) отречение от устройства в Турции «кондоминиума». Русское правительство приняло все эти пункты.

Узнав о таком принятии, А. И. Нелидов обращает внимание министерства иностранных дел на противоречие между указанными пунктами и решениями Совещания 23 ноября, исполнению коих они могут помешать. Но управляющий министерством **Шишкин** отвечает послу, что три пункта Ганото вполне соответствуют воззрению государя, который желает, в полном единении с державами, отсрочить падение Оттоманской Империи. Мы находимся, говорит Шишкин, пока еще в мирном фазисе, а потому не существует никакого противо-

речия между тремя пунктами и постановлениями Совещания, которые имеют в виду чрезвычайные обстоятельства. Когда таковые наступят, мы и будем сговариваться с державами. А преждевременные переговоры только вызвали бы подозрение держав и **развязали бы им руки.**

С чисто формальной точки зрения товарищ министра Шишкин прав. Совещание 23 ноября действительно не вынесло постановления о **немедленном захвате** Россией Царьграда, а только предусматривало таковой при наступлении крайних обстоятельств. Но из записки посла Нелидова ясно вытекает, что он то считает эти обстоятельства уже наступившими и не предвидит возможности остановить разложение Оттоманской Империи. А судьей наступления критического момента Совещание поставило того же А. И. Нелидова. Поэтому возникает вопрос не о весьма сомнительном влиянии пресловутых трех пунктов Ганото на Николая II, а вопрос совсем иной: **что помешало российскому правительству занять Босфор во время турецкой смуты, особенно усилившейся между 1894 и 1897 гг., после резни армян?**

Увы, ответ на этот вопрос мало утешителен для нашего национального самолюбия. Причиной несомненного отбоя была **полная техническая неподготовленность** императорской России к успешной операции в проливах в означенный период (1894-1897 гг.). Такая неподготовленность удостоверена, между прочим, столь важным историческим документом как доклад, сделанный 23 ноября 1913 года, 18 лет спустя, тому же Николаю II министром иностранных дел **С. Д. Сазоновым.** В нем мы находим следующие замечания: «Как известно, еще в 1895 году, в связи с армянскими избиениями, был поставлен вопрос о временном занятии Константинополя нашими войсками, с ведома и согласия наиболее опасного из возможных в то время для нас соперников — Англии. **От плана этого пришлось отказаться по недостатку транспортных средств и несовершенству сухопутной мобилизации.**»

Такая неподготовленность кажется прямо невероятной, особенно ввиду точных указаний на роль флота и десантов при занятии проливов, которые содержатся в постановлениях Совещания 23 ноября 1896 года. Но к сожалению все дальнейшее поведение царского правительства в этом вопросе, как мы увидим, вполне подтверждает **заявление С. Д. Сазонова.**

«Свежо предание, а верится с трудом».

ПОЛИТИКА ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ В XX ВЕКЕ

Русско-турецкая конвенция 31 марта 1900 года

На заре XX века мы встречаемся с запиской министра иностранных дел графа **М. Н. Муравьева**, одобренной Николаем II 25 января 1900 года.

Записка открывается повторением нелидовских тезисов о неизбежности «осуществления заветного исторического призвания России — утвердиться на берегах Босфора». Однако, настоящий момент не представляется министру благоприятным для войны с нынешним хозяином проливов. Он считает возможным до поры до времени удовольствоваться получением от Турции компенсации за выдачу немцам концессии на постройку Багдадской железной дороги. «В самом деле, пишет он, если мы добьемся согласия Султана на отграничение определенного района по южному берегу Черного моря, в пределах коего ни одной иностранной державе не будет даваемо ни железнодорожных, ни иных концессий, если одновременно возможно будет заручиться обязательством Турции не укреплять Босфора, то таковые результаты **до поры до времени** представят для нас достаточное удовлетворение за выданную немцам концессию на сооружение Багдадской дороги и дадут нам возможность спокойно выжидать дальнейшего хода событий на турецком Востоке».

Министры военный (генерал Куропаткин), морской (вице-адмирал Тыртов) и финансов (статс-секретарь Витте) **точно** также высказались против немедленных военных действий на Босфоре, к которым, по их мнению, Россия, за отсутствием чрезвычайных кредитов, совершенно неподготовлена.

В конце концов послу в Константинополе **И. А. Зиновьеву** удается добиться от Порты обязательства выдавать концессии на постройку железных дорог в бассейне Черного моря одним **русским** капиталистам. Договор этот, заключенный 31 марта 1900 года, является большой дипломатической победой России. Но режима в проливах он не изменил (Красный архив, т. 18).

Положение во время русско-японской войны

Во время русско-японской войны Россия тяготилась возможностью послать свой черноморский флот на театр военных действий. Она однако не решилась обратиться к Порте за разрешением на проход через проливы. И поступила весьма благоразумно. Ибо из английских дипломатических архивов мы теперь узнаем, что Англия — в то время союзница Японии — воспротивилась бы проходу русского флота через проливы и что Россия оказалась бы в состоянии войны с Великобританией*).

Смута в Македонии и введение международного контроля в этой турецкой области

Как мы видели, в XIX столетии русские планы устройства будущей судьбы Турции сходились в том, что исключали перевод самостоятельного правительства Турции на международные рельсы. Но в первое же десятилетие XX века России пришлось согласиться на введение международного контроля в большей части европейской Турции — в **Македонии**.

Произошло это унижение Османской Империи по вине султана Абдул-Гамида II.

У этого идейного предшественника Гитлера закружилась голова от несомненного успеха, одержанного им в борьбе с великими державами в армянском вопросе. В самом деле, устроенная Султаном в конце 90-х годов XX века резня 400.000 мирных армян не вызвала вооруженного вмешательства великих держав, ограничившихся предложением реформ, которые были приняты Портой, но остались на бумаге. В начале XX века Абдул-Гамид решил поэтому применить столь блестяще удавшийся ему метод решения расовых вопросов к христианскому населению Македонии... Но Султан забыл, что Македония лежит не в далекой Азии, а в Европе; что она окружена тремя государствами, уже освободившимися от турецкого ига — Сербией, Болгарией и Грецией, которые не допустят истребления своих сородичей; и что не потерпят также великие державы положения, легко могущего привести к мировой войне и преждевременному развалу всей Осман-

*) См. British Documents on the origin of the war IV, номера 40, 41, 43.

ской Империи, относительно раздела наследства которой не существовало пока никакого международного сговора.

Как бы то ни было, кровь полилась в Македонии не менее обильными ручьями, чем в свое время в Армении. Болгарские, сербские и греческие банды наводнили Македонию, а болгарские революционные организации стали побуждать население к открытому восстанию. Несмотря на турецкие обиды, не все македонские крестьяне последовали этому призыву. Тем не менее, турецкие войска свирепствовали по всей стране, не делая различия между повстанцами и мирным населением. Автору этих строк, управлявшему в 1903 году российским консульством в **Ускюбе**, пришлось совместно с австрийским консулом **Богумилом Пара** произвести анкету в Ускюбском санджаке (уезде). Анкета вполне установила преступное отношение турецких властей к мирному христианскому населению этого большого округа.

При таких обстоятельствах ослабленная своей дальневосточной авантюрой и охваченная уже революцией Россия не чувствует себя в состоянии поддержать одними своими силами падающую в столь неподходящий момент Турцию. Поэтому Россия сговаривается с Австрией относительно введения реформ в Македонии и совместного контроля над нею. Заключается пресловутое **Мюрштетгское** соглашение 1903 года, в силу которого к турецкому генеральному инспектору Македонии Хильми-паше приставляется два «гражданских агента», русский и австрийский. Но этот русско-австрийский контроль скоро переходит в международный. Во всех санджаках Македонии реорганизация жандармерии поручается офицерам различных держав. А в конце концов самая важная часть реформ — финансовая — поступает в ведение международной комиссии.

От дальнейшего развития этой «интернационализации» то-есть, превращения Македонии в автономную провинцию с большими шансами на полное отделение от Оттоманской Империи, Турцию спасает совершенно непредвиденное державами событие — младотурецкая революция 1908 года, вызванная взрывом патриотизма в среде турецкого офицерства. Растерявшиеся державы немедленно сдают позиции, громогласно заявляют о своей вере в новую Турцию и, в знак искренности своего обращения, отказываются от контроля над македонской администрацией.

Перед Россией возникает, таким образом, вопрос о выборе политики по отношению к новой, «либеральной» Турции.

Англо-русские переговоры 1907 года

В конце этого периода, столь печального для русского престижа на Ближнем Востоке, блеснул, правда, только на мгновение, луч надежды на перемену. Лондонский кабинет вел в это время переговоры с Петербургским о разграничении сфер влияния в Средней Азии, и некоторые государственные люди Англии находили возможным отказаться от резкой анти-русской политики в проливах в обмен на известные русские уступки в Азии. Еще в 1903 году товарищ английского министра иностранных дел сэр **Чарльз Хардинж** запрашивает английские морские авторитеты (Совет обороны Империи и Директора морской разведки), как отразилось бы на равновесии сил в Средиземном море предоставление одной России права свободного прохода через проливы. Хардинж получает благоприятный для русских вождедений ответ: упомянутые морские авторитеты находят, что такое право не изменило бы существенным образом стратегического положения в Средиземном море.

Тем не менее, переговоры, которые ведутся в 1907 году между А. П. Извольским и английским министром иностранных дел сэром Эдвардом Греем, не приводят к практическим результатам: Грей считает, что для заключения англо-русского договора о проливах момент еще не наступил. Он опасается английского общественного мнения и возражений других держав. К тому же, непременным условием для заключения договора является не только **заключение** соглашения по азиатским вопросам, но и удовлетворительное проведение его на практике. Наконец, что касается содержания будущего договора о проливах, Грей не желает связываться предварительными обязательствами. Обсуждение этого вопроса должно оставаться совершенно свободным.

Таким образом, улучшение общей атмосферы англо-русских отношений не отразилось в водах Босфора и Дарданелл. Англо-русская конвенция по азиатским вопросам (31 августа 1907 года) о проливах совсем не упоминает.

Австро-русский кризис и «рычаг без точки опоры» в руках русского министра иностранных дел (1908-1909 гг.)

В начале 1908 года австро-венгерское правительство добилось от Порты ирадэ (указа) на постройку железной дороги в турецком, но по Берлинскому трактату занятом Австрией Новобазарском санджаке, долженствующей соединить боснийские линии с турецкими и ведущей прямо в Салоники. Этим шагом Австро-Венгрия показала, что уклоняется от дальнейшего дружеского сотрудничества с Россией на Ближнем Востоке и имеет в виду воспользоваться ее временным ослаблением для достижения собственных, явно агрессивных целей.

Вскоре после выхода этого указа, 21 января 1908 года, в Петербурге состоялось секретное совещание под председательством статс-секретаря **Столыпина** для обсуждения положения на Балканах и в Малой Азии.

На этом совещании министр иностранных дел **А. П. Извольский**, указывая на трудность переживаемого политического момента, ставит вопрос о положении, которое сможет занять Россия в случае грядущих осложнений. Ответы, которые он получает от компетентных министров, весьма неутешительны. Товарищ военного министра генерал **Поливанов** заявляет, что «армия наша не может считаться приведенной в порядок», а морской министр **Диков**, «что черноморский флот в настоящее время не готов к военным действиям». После таких ответов министр иностранных дел «считает долгом еще раз обратить внимание на необходимость выяснить, представляется ли возможным сойти с почвы строго охранительной политики, которой Россия придерживалась до сих пор и которая способна привести нас к весьма невыгодным результатам, или он может говорить с твердостью, подобающей министру иностранных дел великой державы, уверенному в возможности для нее решительно отстаивать свои интересы».

На этот вопрос председатель совета министров Столыпин дает следующий категорический ответ: он считает «долгом решительно заявить, что в настоящее время министр иностранных дел ни на какую поддержку для решительной политики рассчитывать не может. Новая мобилизация в России придала бы силы революции, из которой мы только что начинаем выходить... В такую минуту нельзя решаться на авантюры или даже активно проявлять инициативу в международных делах. Через несколько лет, когда мы достигнем полного ус-

покоения, Россия снова заговорит прежним языком. Иная политика, кроме строго оборонительной, была бы в настоящее время бредом ненормального правительства, и она повлекла бы за собой опасность для династии». Статс-секретарь Столыпин считает поэтому долгом категорически заявить, «что в настоящее время мобилизация ни под каким видом не возможна; в случае же серьезных осложнений на Балканах придется надеяться на дипломатическое искусство министра иностранных дел; в руках его теперь **рычаг без точки опоры**, но России необходима передышка, после которой она укрепитсЯ и снова займет принадлежащий ей ранг великой державы»^{*)}.

Бухлау

А. П. Извольскому, получившему такое недвусмысленное указание от главы правительства, только и оставалось использовать ресурсы своего дипломатического искусства, на которые единственно возлагал надежды Столыпин. Что же он сделал в этом направлении?

Во-первых, министр иностранных дел занял по отношению к новому младотурецкому правительству вполне дружественную позицию. Россия, как и другие великие державы, отказалась, ввиду ниспровержения абдугамидовского режима, от контроля в Македонии, и А. П. Извольский заявлял о полной своей готовности поддерживать наилучшие отношения с Новой Турцией, в твердом уповании, что она **по собственному почину** положит конец преследованиям христиан. Что же касается Константинополя, то А. П. Извольский стал объяснять *urbi et orbi*, что Россия стремится не к обладанию турецкой столицей, а лишь к получению для русских военных судов права свободного прохода через проливы. В искренности этих заявлений автор сих строк имеет основание быть вполне уверенным, ввиду того, что он исполнял в это время обязанности первого драгомана русского посольства в Константинополе и что министр возложил на него доверительную миссию распространения программы русско-турецкого сближения среди младотурецкого общества.

Во-вторых, А. П. Извольский сделал попытку сговорить-

^{*)} «Константинополь и проливы», 1, стр. 8-10.

ся с Австрией, которая в это время готовилась к превращению своей «оккупации» Боснии и Герцеговины, основанной на Берлинском трактате, в официальную аннексию. Нотой 19 июня — 2 июля 1908 года, адресованной Венскому кабинету, министр заявлял, что русское правительство согласилось бы на совместное с Веной обсуждение вопроса об аннексии в связи с вопросом о проливах. В своем ответе от 27 августа 1908 года австро-венгерское правительство сообщило о своей эвентуальной готовности к доверительному и дружественному обмену взглядов по вопросу о проливах. Очевидно, поэтому, что отправляясь на свидание с австро-венгерским министром иностранных дел бароном Эренталем в Бухлау, замок графа Берхтольда, австрийского посла в Петербурге, А. П. Извольский надеялся восстановить связь между этими вопросами.

Надеждам этим не суждено было осуществиться. Никакого соглашения, ни письменного, ни даже словесного, во время свидания двух министров в Бухлау (16 сентября) заключено не было. Что же касается содержания и хода этих секретных переговоров, происходивших без свидетелей, то доклады, представленные обоими министрами своим правительствам, и другие их записки и заявления находятся в столь вопиющем между собой противоречии, что всякую надежду узнать когда-нибудь всю правду об этом свидании, повидимому, надо считать утраченной.

Согласно запискам барона Эренталья, опубликованным австрийским правительством, А. П. Извольский заявил о своей «принципиальной» готовности занять «доброжелательную и дружескую позицию» по отношению к аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией; а барон Эренталь, со своей стороны, гарантировал, тоже только «принципиально», подобное же поведение Австро-Венгрии в вопросе прохода через проливы военных судов России и других прибрежных стран Черного моря.

Но впоследствии А. П. Извольский категорически отрицал, что он обещал, хотя бы только в принципе, «доброжелательное и дружеское» отношение России к предполагаемой Австрией аннексии. Он наотрез отказал барону Эренталю в разрешении упомянуть о таком его заявлении перед австро-венгерскими делегациями. Эренталь этого заявления не сделал, и аннексия была объявлена без всякого указания на согласие России. Все же австро-венгерский министр никогда не переставал утверждать, что в Бухлау шла речь об аннек-

сии и о проливах. Барон Эренталь признал, однако, что заявления А. П. Извольского, как и его собственные, носили только **принципиальный** характер.

Как бы то ни было, не следует забывать, что в Бухлау А. П. Извольский явился вооруженным одним только знаменитым «рычагом без точки опоры», которым любезно снабдил его Столыпин. Нет ничего удивительного в том, что он не успел в своей попытке связать вопрос об аннексии с вопросом о проливах. И крайне несправедливы по отношению к А. П. Извольскому те критики, которые ставили ему в вину, что он будто бы готов был ради проливов пожертвовать двумя славянскими областями. Критики эти забывают, что Австро-Венгрия фактически владела и управляла этими областями в течение уже 30 лет, и что речь шла о чисто юридической формальности; забывают они также, что еще Рейхштадтским и Будапештским секретными договорами, заключенными с Австро-Венгрией в 1876-1887 годах, Россия соглашалась уже на аннексию Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в случае изменения *status quo* Османской Империи.

России пришлось уже через год (1909 г.) под сильным давлением Германии признать аннексию и притом без малейшей компенсации в Босфоре и в Дарданеллах. Но **битва за проливы** 1908 года была проиграна Россией не в Бухлау, а в Лондоне, куда отправился, в надежде на более благоприятное отношение к его планам, русский министр. Нет сомнения, что окажи Англия серьезную поддержку пожеланиям России, австро-венгерское сопротивление не замедлило бы исчезнуть.

Но такой поддержки, несмотря на состоявшееся англо-русское соглашение по азиатским вопросам, А. П. Извольский в Лондоне не встретил. Сэр Эдвард Грей заявил, что английский общественное мнение не могло бы согласиться на предоставление России исключительного права, создающего положение, при котором русские крейсера могли бы свободно проникать в Средиземное море, наносить ущерб английской торговле и скрываться затем вновь в Черном море, куда вражеские военные силы не имели бы доступа. Помимо того, английский министр, с чисто политической точки зрения, считал момент неподходящим для оказания давления на новый турецкий режим, находящийся в затруднительном положении. По его мнению, такое давление могло бы повести к падению этого режима, а может быть и к анархии. Таким образом, открытие проливов одним русским военным судам не встретило

бы в Англии большего сочувствия, чем до заключения азиатского соглашения. Очень холодно отнеслась к русским пожеланиям и Франция.

Незавидное в то время положение России внушило Вильгельму II мысль предложить Николаю II свои услуги для урегулирования вопроса о проливах путем поддержки русских вожеланий перед Францией и Англией. При этом настоящей целью Вильгельма было, как он сам пишет в письме к канцлеру Бюлову, «вбить клин» между Россией и Англией. Но на предложение, сделанное в этом смысле германским военным агентом фон Гинце, Николай II, разгадавший тайный замысел своего дорогого «Вилли», ответил вежливым, но категорическим отказом.

Мистерия на Босфоре (1911 г.)

Осенью 1911 года новый русский министр иностранных дел С. Д. Сазонов заболел и принужден был уехать в Давос. Временный его заместитель А. А. Нератов счел конъюнктуру, созданную итало-турецкой войной и англо-французскими переговорами о Марокко, благоприятной для русского выступления в Турции. Он предписал поэтому послу в Константинополе вступить в **частные** переговоры с турками об изменении русско-турецкой конвенции 1900 года, представляющей русским капиталистам привилегию на постройку железных дорог в бассейне Черного моря. При этом А. А. Нератов, уполномочивая посла на расширение переговоров, буде он встретит благоприятную почву, на этот случай присоединил к своим инструкциям несколько проектов договоров, в том числе проект **об открытии проливов русским военным судам**. Н. В. Чарыков нашел, однако, более правильным поставить вопрос о проливах в самом начале переговоров и, помимо этого, предложил министерству некоторые изменения его инструкций; они касались усиления русских гарантий действующего в проливах режима, а также обязательства России содействовать установлению прочных отношений на базе *status quo* между Турцией и балканскими государствами.

Чарыковские предложения встретили со стороны министерства иностранных дел весьма несочувственный прием, но так как оно все же не предписало послу держаться посланного ему текста, то он счел возможным вручить Великому Визирю Саиду-паше особое письмо и проект конвенции в собственной

редакции (29 сентября — 12 октября 1911 г.). При этом Н. В. Чарыков еще углубил свое расхождение с министерством. Это последнее гарантировало Турции **поддержку** России только для сохранения действующего в проливах режима и для распространения его на прилегающие территории; проект же посла распространял на прилегающие территории и поддержку в тех случаях, когда бы им грозила опасность от иностранных вооруженных сил. Заключительная статья посольского проекта постановляла, что русско-турецкое соглашение о проливах будет доведено обоими правительствами до сведения держав — участниц Лондонской конвенции 1871 года. Между тем, министерство имело в виду только получение согласия Порты, предоставляя ведение всех дальнейших переговоров с державами одной России.

Н. В. Чарыков поручал мне затем несколько раз просить Саида-пашу об ответе на препроводительное к посольскому проекту письмо. Великий Визирь всякий раз отвечал уклончиво, требуя все новых и новых отсрочек. Наконец, посол решил положить конец этим переговорам, носившим только **частный характер**, и официально вручил свой проект Ассимбею, министру иностранных дел (14 ноября 1911 года). Но, Ассим-бей уклонился от ответа. Такое уклонение от ответа двух официальных глав турецкого Олимпа не означало, однако, окончательной неудачи русской инициативы. Ведь эти вершители судеб были лишь подставными лицами «Комитета Единения и Прогресса», которому в это время принадлежала вся власть. Что же думал всемогущий сей Комитет?

Мне пришлось в течение всего этого времени выполнять задачу русско-турецкого сближения, возложенную на меня А. П. Извольским. У меня было много друзей среди членов Комитета и некоторые из них не скрывали своего сочувствия русским пожеланиям. Особенно далеко в этом направлении шел турецкий Анри Рошефор, знаменитый Гуссейн-Джахид-бей, главный редактор официального органа Комитета «**Танин**». 28 и 29 ноября 1911 года (по старому стилю) Гуссейн-Джахид-бей напечатал за своей подписью две передовые статьи, высказывающиеся самым определенным образом в пользу открытия проливов для одних русских военных судов.

Когда в официальном органе Комитета появились эти статьи, Н. В. Чарыков стал ликовать, празднуя победу. Но, увы, уже следующий день принес послу самое горькое разо-

чарование его жизни: **переговоры были внезапно прерваны Россией.**

Произошло это следующим образом. Министр иностранных дел С. Д. Сазонов излечившись от своей болезни, приехал из Давоса в Париж и немедленно же, а именно, 26 ноября, ознаменовал свое возвращение к власти сообщением прессе, что Россия не вела никаких **дипломатических** переговоров с Турцией по вопросу о проливах. Послу же Чарыкову С. Д. Сазонов предписал заявить туркам, что его обмен взглядов с ними имел исключительно частный характер. 2 декабря министерство сообщило послу, что не находит возможным вести какие бы то ни было переговоры на основании текста, сообщенного им Ассим-бею. Н. В. Чарыков принужден был заявить Порте, что все сделанные им предложения аннулируются. Вскоре после этого посол был отозван.

Как объяснить такой неожиданный финал русско-турецких переговоров?

Во время выступления Н. В. Чарыкова министерство всячески старалось содействовать его успеху у великих держав, но не добилось благоприятных результатов. В официальных своих заявлениях и французский министр (де Сельв) и английский (сэр Эдвард Грей) неукоснительно возвращались к своим зыбким позициям 1908 года. А, сверх того, из французских дипломатических документов мы теперь узнаем, что **французская** дипломатия не считала совместимым с интересами Франции ни предоставление России полной свободы в проливах, ни участия в гарантии их *status quo*. Бомпар, французский посол в Константинополе, усматривал в предложении Чарыкова попытку России возобновить Хункияр-Искеллесийский трактат, а поверенный в делах в Петербурге Панафие указывал на огромный риск для Франции и Англии, сопряженный с тройственной гарантией турецкого *status quo*, каковая была бы в одних интересах Турции и России, не дав ничего взамен другим ее участникам.

Довольно неожиданно русское министерство встретило на первых порах вполне благоприятное отношение к своим пожеланиям со стороны германского канцлера Бетмана-Гольвега и министра иностранных дел Кидерлена. Да и сам император Вильгельм ставил единственным условием своего согласия получение Россией такого же от графа Эренталя. Но эти столь благоприятные настроения Берлина не устояли перед сопротивлением германского посла в Константинополе барона

Маршалла фон Биберштейна. Посол этот за 14-летнее пребывание свое на берегах Босфора завоевал себе и представляемой им Германии совершенно исключительное положение. Он вошел в личную дружбу с султаном Абдул-Гамидом и неукоснительно, без разбора, защищал всю его политику, как перед другими державами, так и перед собственным правительством. Султан в нем души не чаял, а император Вильгельм придавал его мнениям исключительное значение.

И вот, барон Маршалл бросает на политические весы весь свой авторитет, чтобы удержать Берлин от малейших уступок России в вопросе проливов, утверждая, что подобные уступки не только подорвали бы престиж Германии, но и повели бы к гибели Оттоманской Империи. В яростном антирусском порыве германский посол грозит своему императору подачей в отставку в случае, если его мнение не будет принято во внимание... **И капитулирует не посол, а император.** Канцлер Бетман и министр Кидерлен должны отказаться от всякой поддержки русских вождедений, связанных с проливами.

Где же мы найдем ключ к разрешению всей этой изумительной политической загадки, к уразумению этого дипломатического сумбура?

Что русское министерство иностранных дел не пришло в восторг от чарыковских поправок к посланным ему инструкциям, понятно. Дело в том, что Н. В. Чарыков, будучи убежденным славянофилом, стремился извлечь из русско-турецкого сближения пользу и для славян. Но при этом он исходил из ложного предположения, что мир и согласие на Балканах могли быть достигнуты путем создания **балканской федерации в которую входила бы Турция.** Поэтому посол и ввел в свой проект пункт о добрых услугах России для установления между Турцией и балканскими государствами прочных добрососедских отношений на почве *status quo*. Но такой проект мог действительно казаться министерству весьма опасной иллюзией, ибо он совершенно не считался с настоящими настроениями балканских государств, **стремящихся не к объединению с Турцией, а к дележу ее македонского наследства.**

Нельзя также отрицать, что предлагаемый послом пункт о защите Россией прилегающих к проливам территорий заходил слишком далеко. И уже во всяком случае являлся преждевременным при начале переговоров.

Но при таких условиях возникает вопрос: почему же ми-

нистерство не предложило послу строго держаться сообщенного ему текста, а, наоборот, поддерживало его выступления перед европейскими кабинетами до вмешательства С. Д. Сазонова?

Что касается последнего, то весьма вероятно, что при проезде своем через Париж, он не избежал некоторого влияния французской дипломатии, настроенной, как мы видели, против слишком туркофильского, на ее взгляд, проекта Чарыкова. Но из опубликованных французских документов следует, что эта дипломатия не одобрила также крутого поворота русской политики в обратную сторону, в котором она усматривала внезапное возвращение России к «*manière forte*», от коего могли пострадать интересы союзной Франции в Турции. Итак, отрекаясь от Н. В. Чарыкова и отзывая его из Константинополя, Сазонов не действовал под французским влиянием.

Но в таком случае перед историком неизбежно возникают два вопроса: первый — чем была вызвана необыкновенная поспешность, с которой вернувшийся на свой пост министр прекратил переговоры, допущенные и поддержанные его заместителем А. А. Нератовым? И — второй вопрос: чем объяснить немедленное же применение к послу публичной и суровой санкции? Вопросы эти требуют ответа в особенности потому, что отмена переговоров и отзыв посла последовали после благоприятного отношения к русским пожеланиям, проявленным «Комитетом Единения и Прогресса» в официальном своем органе «Танине».

В Комитете в это время боролись две партии, русская и германская. В момент появления статей «Танина» взяло верх **русское** течение. Но, разумеется, после громогласных заявлений С. Д. Сазонова окончательно восторжествовал **германский** курс. И вот спрашивается, была ли нам нужна отказываться столь широкошумно от всяких переговоров, даже от частных, и немедленно отзывать посла, сторонника русско-турецкого сближения, как бы в ознаменование возвращения России к резкой антитурецкой политике?

Когда впавший в немилость Н. В. Чарыков уезжал из Константинополя, набережная была переполнена турками, пришедшими проводить русского посла — как друга Турции. Факт небывалый в истории русско-турецких отношений.

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ

Два слова о том, что годы проходят

В небольшом русском ресторане со старыми, давно требующими ремонта, закоптелыми стенами с разводами плесени в углах и на потолке, напоминающими тусклую жизнь неуклонно стареющих людей, — с двумя-тремя литографиями в красках, тоже выцветшими и с грустью говорящими нам о прошедшей юности: ясные просветы сквозь закоптелые стены в «Санкт-Петербург» Добужинского и репинскую Украину запорожцев, — я как-то встретил давнишнюю свою знакомую, которую потерял из виду лет двадцать тому назад.

За веселыми словами, неискренно скрывавшими жалость друг к другу, мы с поспешностью и любопытством, обычными в таких случаях, подсчитывали количество морщин под глазами и тех серебряных линий, которые подытоживают колонки цифр и о которых так чудесно говорил Ламартин:

*Vois comme de mon front la couronne est fragile!
Vois comme cet oiseau dont le nid est la tuile
Nous suit pour emporter a son frileux asile
Nos cheveux blancs, pareille à la toison que file
La vieille femme assise au seuil de sa maison*).*

Знакомая моя вспоминала мой внешний облик в те давние времена, когда нами не интересовалась ни эта ламартиновская птица, ни жалкая пряха Парка. Я будто-бы, судя по ее чуть насмешливому рассказу, был восторженным энтузиастом, настоящим поэтом-бродягой с развевающимися по ветру волосами и с неизменной, неразлучной книгой подмышкой. Когда

*) Смотри, как нимб над лбом моим непрочен,
Смотри, как следует за нами птица,
Чтоб унести в убежище на крыше
Седые наши волосы. Они
Старухи пряжу мне напоминают.

она говорила мне это, я, сидя за ресторанным столиком, тихонько, чтоб она не заметила, засунул за спину книгу (Антологию французской поэзии), которую держал в руках. Мне вдруг стало стыдно, что даже последние страшные годы не искоренили этой моей молодой привычки. Она заметила мой жест и рассмеялась:

— Вы, я вижу, остались все тем-же... — но это звучало, как комплимент и позволило мне сказать два слова о моем заветном желании писать «Записки уличного зеваки», где можно было бы в свободной форме, в форме французского *essai*, см. изумительную автобиографию *Alain'a* «История моих мыслей», изображать свои уличные и книжные впечатления в легких, кратких, почти газетных очерках.

На прощанье я хотел моей милой знакомой прочесть все вертевшееся на устах печальное двустишие:

*Nous sommes tous les deux voisins du ciel, madame,
Puisque vous êtes belle et puisque je suis vieux*).*

Но во-время вспомнил, что «мадам» уже не молода и не так прекрасна и что я тоже **еще** не в том возрасте, близком к небесам, в котором был Виктор Гюго, когда писал свой знаменитый сонет «*Ave, Dea, moriturus te salutat*», посвященный Юдифь Готье.

Капризы широкой русской души и живая иллюстрация к желанию Достоевского ее сузить

Эта мимолетная встреча в ресторане, подсказавшая окончательную форму настоящим запискам, напомнила мне одну интересную встречу с русским ученым, но в совершенно иной, редкой, своеобразной даже для нашей исполненной сюрпризов жизни обстановке. Мне надолго запомнилось, как разглядывая в упор мое постаревшее лицо (мы тоже не видались лет пятнадцать), спеша, захлебываясь, обдавая меня тонкой сетью слюны, витийствующий профессор трагически повторял:

— Да, да... Ужасно как тяжело стареть. Недаром на старо-русском **дряхлый** — синоним грустного, печального...

*) Мы оба близки к небесам:

Я — стар, а вы — прекрасны.

Я пытался его утешить словами из «Бориса Годунова»: «На старости я сызнова живу». Он весь просиял, но на одно лишь мгновенье.

— А тот же Пушкин, помните? «Свои года возненавидел обезоруженный старик». Вы чувствуете: **обезоруженный** — какой глубокий эпитет... И перескакивая от одного писателя к другому (память у него была поистине чудовищная, впрочем она его целиком и поглощала, ничего не оставляя для его личных мыслей), он засыпал меня цитатами на тему о старости.

Встреча наша происходила в берлинской православной церкви на **Nachodstrasse** в начале февраля 1942 г. — восемь месяцев после вторжения германских полчищ в Россию и столько же — до начала Сталинградской эпопеи.

Около двух лет я провел за колючей проволокой, и это была моя первая прогулка на свободе. Я готовился к ней в течение долгих дней. Подружился для этой цели с одним сербским рабочим, у которого до рассвета того дня оставил свой мундир военнопленного, переоделся в его штатский костюм и с его же документами поехал из Потсдама в Берлин. Если считать мое пребывание во французской армии еще до плена, то это будет ровно два с половиной года, что я оторван от русских людей и русского печатного слова; поэтому естественно, что первым моим движением в Берлине было повидать своих земляков, а в воскресный день их можно было найти в церкви.

По дороге туда, проходя мимо газетного киоска, я с волнением заметил среди немецких готических инициалов — русские буквы. После многолетней парижской привычки к «Последним Новостям» была понятна та жадность, с которой я набросился на первую русскую газету. Я тут же, прислонившись спиной к киоску, проглотил жалкий листок от передовицы до объявлений, с удовлетворением отметив, что лучшие литературные силы эмиграции в нем не участвуют. Лишь одно имя, хорошо мне знакомое, но и до войны редко появлявшееся в печати, заставило меня болезненно сморщиться.

Живого носителя этого имени я как раз увидел в церкви, коленопреклоненным у алтаря. «О чем он может молиться после той статьи, что я только что прочел?» — думал я, прислушиваясь к торжественному возгласу священника о «многострадальной нашей родине».

Из знакомых, кроме него, я в церкви никого не встретил,

хотя все лица молящихся казались мне много раз виденными, но, пожалуй, не на парижской рю Дарю, а где-то глубже в моем прошлом: под сводами Айя-Софии.

На улице после службы я так взволнованно слушал настороженным ухом все эти аканья и оканья родной речи (вплоть до кубанского «патуа»), что не успел избежать, как намеревался сделать, неприятной встречи с автором статьи о византийской культуре. Я старался побороть в себе брезгливое чувство, вызывая из прошлого моменты более счастливых встреч с этим «павшим ангелом». Как только он закончил свою диссертацию на тему о приближающейся старости, я решил отвести душу и стал безжалостно оценивать его теперешнюю деятельность.

— Как? Так и вы не поняли моей статьи «Защита культуры?» — Он почти побледнел, если могло бледнеть его бескровное лицо. Я коснулся его больного места. — Умоляю вас Господом Богом: читайте между строк. Прочтите конец, где я говорю о финальной победе византийской культуры — ведь это **наша победа**. — С испугом оглянувшись по сторонам, не слышит ли кто-нибудь его страшных слов, он наклонился ко мне и продолжал свистящим шопотом:

— **Я молюсь, чтоб они погибли.** Я молюсь каждый день. О, если-б вы знали, как я мучительно страдаю. Я люблю немецкую культуру—это искренно все, что я пишу о ее славном прошлом. Но сегодня — это мрак, это хуже средневековья, это страшный нуль. Это даже не нуль, а то, что налево от нуля: каждая человеческая единица украшена не железным крестом (он сделал жест в сторону гордо сходявшего с церковной паперти русского ландскнехта в мундире немецкого офицера, сияющего орденами), а **минусом**, — каждая единица творит зло, отрицает самые простые основы культуры. И этого первобытного, ныне развязавшегося зверя мы, русские, сотрем с лица земли и — в это я глубоко верю — спасем мир...

И я увидел перед собой затравленного своей собственной совестью великого грешника, схоластика пытающегося оправдать свое падение. Его руки, которыми он цеплялся за пуговицы моего пальто, дрожали, лицо дергалось в нервном тике.

— Я молюсь, молюсь каждый день о **его гибели** (подчеркивая слово «его», но не называя имени, он вдруг испугался собственной смелости и снова оглянулся по сторонам). «И избави нас от лукавого» — его, Антихриста... Мне сейчас

важно ваше мнение — умоляю: не бросайте в меня камень. Читайте между строк. Конечно, это ужасно. Но поймите...

В глазах его стояли слезы.

«Наш дрянной стыдишка своей национальности» (Герцен)

В дни, когда исполнилось вешнее желание молодого красноармейского поэта: «А когда в былое схлынут бедствия и войне положится зарок, тыщи рук поднявши для приветствия, **целый мир возьмет под козырек**», — в счастливые дни, когда мы снова заговорили о «народной гордости и любви к отечеству», мы по парижским улицам по новому носим светлое имя русского, совсем не так, как четверть века тому назад рассказывал А. Ремизов в своих письмах на родину: «Я на улице тут громко слово боюсь сказать по-русски... мы бесправные тут. Я это тогда еще почувствовал, как из Ямбурга в Нарву попал, на самой границе, когда с нашим красноармейцем мы, русские, простились, а те свой гимн запели. И уж молчок — ни зыкнуть, ни управы искать. А в карантине сидя, на каторжном-то положении, стало мне совсем ясно, а когда из карантина на волю выпустили, не только что ясно, но и несомненно».

В дни, когда, наконец, Россия достигла высшего предела своего исторического развития, не будет излишним, как предостережение на будущее, перелистать некоторые страницы русской литературы недавнего прошлого, где мы с особым упоением унижали самих себя.

Минуя Чаадаева с его знаменитым плачем: «Одинокие в мире, мы ничего не дали миру» и всех западников, любивших только то, что не было похожем на русское, — мы остановимся сегодня на страшной для русского читателя книге В. В. Розанова «Итальянские впечатления» (1905 г.).

«...Отчего пишу я, а не Пушкин», — т. е. отчего о Германии и Италии пишет В. В. Розанов, а не Пушкин. «Какихнибудь трех-четырёх тысяч рублей не нашлось чтобы сказать ему: «Поди, ты имеешь ум, как никто из нас (и в том числе начальство, ибо это даже официально было признано!); и что ты увидишь там, что подумаешь, к чему вдохновишься — пиши сюда, **на тусклую свою родину** (курсив всюду мой. Б. С.), в стихах или прозе, по-французски или по-русски. Пиши, что хочешь и как хочешь, или хотя ничего не пиши. И что бы мы имели от Пушкина, увидь он Италию, Испанию,

Англию, а не одни московские и петербургские закоулки, кишиневские да кавказские таборы!...»

«Пример Пушкина неопровержим: почему пишу я, а не Пушкин. Пока это — так, а это именно так, я неопровержим в той моей мысли, что русская культура просто раздавлена, как яйцо в руках самодура-силача. И ничего из этого яйца не вышло (кроме гадости), а может быть вышла бы Жар-Птица. Пушкин говорит и доказал собою, что могла бы родиться именно Жар-Птица. Ну, может быть, вышло бы что-нибудь среднее... а у нас вышла просто гадость, **вонючее содержание недоношенного яйца**».

И в другом месте: «Ах, если бы не плутоватость наша национальная почти в каждом, восклицает В. В. Розанов, если бы не эта наша русская лживость; если бы нам немножко немецкой (!) нравственной серьезности, не патетической, но ровной и спокойной — какая бы нация вышла на востоке Европы, какая судьба. Но нет этого и, может быть, **никогда не будет: и мы сумеем только талантливо промотать свое отечество**, когда немцы сколачивают и сколотили уже из копеек великое царство».

Философ «превыше самого Ницше» о немцах

В. В. Розанов, по отзыву людей его поколения, «уже не знал страха смущаться перед людьми» и все же, в последней части «Итальянских впечатлений», озаглавленной «Возможный гегемон Европы», он начинает свою апологию немецкому народу с бесконечных извинений перед читателем.

«Да будет позволено сказать **украдкой** и эту **приватную** мысль», шепчет он, озираясь по сторонам, чувствуя себя неловко, как тот профессор-ренегат с *Nachodstrasse*, о котором я рассказывал выше, — и этой «приватной» фразой он в дальнейшем сопровождает каждую свою особенно смелую мысль.

«Немецкий характер — стоит золота. Я бы не был испуган фактом войны с немцами. Очевидно, это не нервно-мстительный народ, который, победив, стал бы добивать (!). Если они и свели на «нет» полабских славян средневековья, то очевидно потому, что **те никак не умели сами просуществовать**» (Здесь Розанов предвосхитил аргумент всех речей Гитлера, касавшихся не только полабских славян). «Немец *en masse* или «простак» в политике, или просто у него **нет аппе-**

тита — все съесть кругом» (и этим Розанов объясняет «бес- сильное, раздробленное существование Германии, тянувшееся целую тысячу лет»). «Чрезвычайно приятно быть другом или приятелем этих добропорядочных людей»... «Я высказал бы ему (немцу) всякое уважение и, наконец, уступчивость при всяческом столкновении, когда этому доброму бочару вздумалось бы вдруг заорать и поднять шум из-за того, что ему чего-то «не додали», когда ему все решительно уплатили (?!). Прямо дал бы лишнее, и просто ради доброго характера. Уверен, что все потом вернулось бы сторицей (говорю мысль свою почти украдкой, в сторону, для будущего)».

«Сам бы я не женился на немке, и лучшему другу-женщине не посоветовал бы соединить свою судьбу с немцем... И в то же время ни за кого я с такою охотой не выдал бы замуж свою дочь, как за немца, и ни на ком бы не женил с таким удовольствием своего сына, как на немке. Себе — скучно, жене шепнул бы: «скучно». А о детях — только забота, как бы обмана не вышло, как бы не вышло муки. Полное обеспечение».

«Германия явно рвется и, вероятно, достигнет гегемонии в сонме европейских *puissances*; но «гегемонии» такой, которой некуда им (немцам) девать и нечего из нее сделать. Нет народа с менее «всемирным» призванием, чем немцы. «Школьный учитель» бежал без оглядки перед такой «фатальной» личностью, как Наполеон, да и **вообще (побежит) перед истинно-всемирною и таинственной личностью**, ибо — про винциальный дух Германии: «Когда никто, так я». Не священная нация немцы — это очевидно. Гегемонию им можно всячески дать, даже с уважением, наконец, с охотой. И никому это не страшно. И ничего от этого не произойдет. «Честный учитель» так до гробовой доски и будет утешен, что вот и он когда-то был «гегемоном». Ну, а чтобы дать радость 40 миллионам столь порядочных людей, **можно другим народам и потесниться, даже чуть-чуть кому-нибудь пострадать. Пусть немцы посекут нас;** если это им в радость — ничего. Добрые люди вполне заслужили этого. И ничего от нас вследствие этого не убудет, и никому от этого слишком горько не станет. Да будет позволено сказать украдкой и эту приватную мысль».

Париж
1946 г.

ОСТАВШИЙСЯ ТАМ

(К 25-летию со смерти Александра Блока)

Наши матери были подруги со школьной скамьи до могилы. И с ранних лет помню «Сашуру», сперва серьезным двухлетним ребенком, прильнувшим к матери, после кудрявым мальчиком в бархатном костюмчике, затем гимназистом с любимой «Дианкой» (собакой) и, наконец, студентом, на этот раз с Любей Менделеевой — женой... Все это было в толстом альбоме, лежавшем на холодном мраморном столе в гостиной, под которым я пряталась от фрейлейн, когда она звала играть в немецкое лото. Частые письма от тети Али (матери Блока) и от тети Мани (М. А. Бекетовой), которые мама читала вслух, рассказывали милое, особенное, а часто непонятное о Сашуре. Когда мы переехали в Петербург, Сашура уже был «Александр Блок», и двери его дома не открылись мне, хотя я звала его мать «тетей Алей», а он мою «тетей Лелей». У Блоков не бывало гостей, а лишь близкие по духу люди. «Принятое» они для себя не считали обязательным и жили, по определению прислуги, «не по-людски». Ни тетя Аля, ни тетя Маня «сводить» меня с Блоками не взялись. Нас свела судьба. Однажды Блоки зашли к тете Мане, когда я была там, и к большой ее радости и моей гордости, Александр Александрович прощаясь со мной сказал: «Приходите к нам. Хорошо?...» Надо-ли говорить, что это было «хорошо» для семнадцатилетней меня? Мир, в котором жили «не по-людски», стал с тех пор моим. Но благодаря тому, что мне было семнадцать лет, а Блоку за тридцать, мои восприятия того времени не совпадали, а отставали в фазе от его творчества. Переживала я поэзию Блока по преимуществу в том, что нужно было моим юным годам. Так его «Страдания у шлейфа Прекрасной Дамы» оставались острыми и новыми, когда сам Блок уже искал виденья вечно-женственного. Поэтому рассказы о наших встречах, хотя они и были частыми, интимными и искренне дружескими, не считаю ценными для читателя.

Из общего биографического материала о Блоке, любовно

и толково собранного М. А. Бекетовой и изданного в СССР, публика уже хорошо знакома со средой, в которой жил и с обстановкой, в которой он вырос в семье своего деда — известного ботаника и многолетнего ректора Петербургского университета — Андрея Николаевича Бекетова. В этот «отчий дом» вернулась юная мать (Александра Андреевна) с младенцем, после двух лет тяжкого брака с блестящим, но мрачным Александром Львовичем Блоком — профессором Варшавского университета. От его жестокой любви она бежала не столько из-за себя, как во имя сына. Своего отца поэт узнал лишь в гробу (см. «Возмездие»). Но и не зная отца, он был во многом похож на него. Мрачность часто владела им, страсти были безудержные; Блок распиная на земле то, что любил на небе. От отца унаследовал он культ славянства, под знаком которого его поэзия и завершилась неистовым аккордом в оде «Скифы».

В окружении Блока мы видим культуру, одними именуемую, а другими клеймящуюся «интеллигентско-дворянской», в ее последней стадии развития. В самом же Блоке встречаем поэта, предназначенного стать героем драмы ее завершения. И в том, как пережил он переход от этой культуры к последующей, эстетико-философская фраза Десницкого (в предисловии его к «Письмам Блока») «исключительно в эстетическом плане берет Блок мир» стала живой правдой.

Хотя Александр Александрович считал мое поколение своей сменой, мы оба выросли в одной культурной традиции, а личная близость вплела меня в его удел... Особо живым стал Блок для меня, когда над ним уже стоял деревянный крест. Теперь читаю его жизнь и творчество не по книжкам, а по тем следам, которые его стихи и наши встречи оставили во мне.



А. Блок был с детства тем, кем стал. «Сашура» в бархатном костюмчике, каким я его знала в альбоме и по рассказам мамы, носил в себе черты поэта Блока и характерную для последнего непричастность к обывательскому, неподверженность житейским слабостям, то, что Десницкий называет «эстетическим планом», а прислуга Аннушка «жить не по-людски». Художественный критик и кухарка не говорят одним языком, но по существу их определение совпало; разница лишь в терминологии. Ребенком Саша был трудным, непокор-

ным и даже озорным, но мелких свойств, которым детей учит бытовая смекалка, не проявлял; не было в нем никогда пошлости — этой заразы от взрослых, ни грубости, к которой толкает животный инстинкт. Взрослым он мог грешить, но не греховодничать; желать, но не вождельствовать... Человеческое достоинство лучше всего проявляется в ссорах. Кому же не известно, что ссориться русские горазды, а тем более в артистическом кругу, где творческое воображение на почве повышенной чувствительности разжигает обиды. Помню драматизированные до предела ссоры А. Блока с Андреем Белым и Сергеем Соловьевым и то печальное достоинство, с которым Ал. Ал. принимал заносчивые выпады Андрея Белого, замолкая, не вступаясь за свою правоту, точно боясь осквернить их художественную близость «схваткой», в которой легко поддаться личному. Только преданная Любовь Дмитриевна метала молнии и посылала ультиматумы во вражеский лагерь в своей предельной лояльности поэту-Блоку. Их брак тоже располагался главным образом в художественном плане. Не будучи совершенным по-житейски (с точки зрения Аннушки), этот брак ни в счастье, ни в драме своей не диссонировал с требованиями эстетического аристократизма, присущего Блоку и воспринятого его женой. Всем, кто знает поэзию Блока, ясно, что он не был примерным мужем, расцениваясь он поллюдски; но ведь когда изменяет поэт, это — новые стихи. Таких стихов было много, и они были прекрасны.

Блок радовался своему профессиональному успеху, но не гнался за ним и не пьянел от него (что часто случается и с умными), встречи с успехом дезинфицируя чувством юмора — вернейшим средством задуть тщеславие. Считаю характерным эпизод, рассказанный М. А. Бекетовой в ее книге «Александр Блок и его мать» (1925 г.) о том как Блок, получив письмо через книгоиздательство «Гриф» от немецкого поэта Гюнтера, просившего разрешения на перевод стихов Блока на немецкий язык, дурачился весь вечер, хотя это признание и было ему лестно и радостно, тем более, что пришло оно на заре его карьеры (в 1904 г.). «Саша был страшно польщен гюнтеровскими комплиментами», пишет М. А. Бекетова, «и в то время как я писала письмо его матери, смешил меня разными шалостями: он принимал горделивые позы, отставляя руку и закидывая голову назад, городил разную чепуху, разговаривал все время по-немецки, что давалось ему нелегко, говорил что он *«berühmter Herr*

Block» и с уморительной буквальностью переводил собственные стихи на немецкий язык. В довершение всего он захотел сделать приписку в моем письме к матери непременно на немецком языке. Привожу целиком это послание в переводе:

«Моя дражайшая маменька, я уже необходим и очень знаменит во всех книжных магазинах главных и провинциальных городов образованного и необразованного мира. Мой большой портрет выставлен на всех вокзалах Германии, Франции, Мексики, Дании, Польши, Испании (и Португалии), Италии, Сербии (и других славянских земель). Он стоит только 50 пфенигов, и его покупают каждый день тысяча восемьсот двадцать семь человек, вместе с другими изображениями моего друга Вольфганга и моего учителя Фридриха (фон Шиллера) и т. д. Генрих Ибсен из Норвегии и Лев Толстой из «Ясной Поляны» прислали мне свой привет и поцелуй. Но я не забуду тебя, несмотря на мою знаменитость. Твой любимый сын Александр. Моя жена тебя целует».

Ребачливость и веселость находили на Блока и в зрелом возрасте, но как пишет М. А. Бекетова, это случалось только среди очень близких ему людей, и мало кому известны эти его свойства. Помню, как однажды он оделся в любимо лиловое манто, лиловую шляпу с вуалью и заявил, что он «Высокая Дама в лиловом» и настаивал, чтобы я пошла с ним гулять по Каменноостровскому.

Если Люба звала меня в свою комнату для обсуждения каких-нибудь туалетных вопросов, Ал. Ал. лукаво улыбаясь говорил: «Вы идете разговаривать о действительно интересном». Вспоминаю это потому, что в веселости Блока была свежесть человека не завязшего в житейском опыте. Ведь не жизненным опытом умудрялся Блок, а выросал воображением и желаньями из своего таланта. Этой же свежестью веяло от его простоты и правдивости, отличавшей его от поверхностной эксцентричности, присущей художественному кругу его времени. Его тугая, монотонная речь и чтение стихов без всякой напевности и манеризма, беззвучный смех, сдержанные манеры, строгие, красивые черты лица сообщали его облику и передавали окружающим значительность, которую носят в себе люди, не придумывающие себе роли.

Обо всем этом не раз писалось, но восстановить черты Блока нужно, чтобы легче узналось его лицо в последнем акте его творческой жизни, не изменившееся, а преображенное.

Когда революция качнула вершины, на которых гнездил-

ся символизм — этот последний изощренный цветок культуры «избранных», удалившихся в себя, — все окружающее настойчиво звало оглянуться на несоответствие воображения с последним опытом жизни, столь убедительными для масс. Забравшимся на мистические высоты предоставлялось либо прыгнуть в гущу событий, в тщетной попытке остановить историю, либо остаться на этих высотах ее «свидетелями».

Блок не сложил своего аристократизма ни как поэт, ни как человек. Я была свидетельницей его готовности встретить историю в эстетическом плане и судьбу своей культуры — гибель, не поступив «по-людски», не «сводя счеты». Вот почему нападки на Блока с политических фронтов, будь то слева или справа, обречены на «недолет».

Помню, как было получено тревожное письмо от управляющего бекетовским именем Шахматовым о том, как топорами взламывали блоковский письменный стол. «Может быть, так нужно», сказал Александр Александрович, точно преграждая этими словами личные чувства. В его дневнике есть запись о том, как трудно было восстановить многое, и что на рукописях «были следы человеческих копыт». Однако желания затоптать оскорбителей своими «копытами» не проснулось. Оттуда, где был Блок, он в свете своего символистического толкования, увлеченно встречал грядущее. Его талант, не померкший от злобы и страха перед идущей сменой, не уронил поэзии в ту мусть из быта и политики, которая поднимается в периоды исторических бурь.

Не расторгла революция и его брака с Россией, которую он обрел во вне времени. Недаром далеко в древность ходил за ней поэт. Там «из тумана над Непрядвой спящей» сошла она «в одеждах, свет струящих». С тех пор в его художественном гербе остался ее «лик нерукотворный светел навсегда»... Так начался их долгий, неразлучный путь.

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь...

Слова «венчается раб Божий Александр рабе Божией России» заклеили «кляуевским кликушеством», но они осуществились, когда Блок принял в свою любовь и темную действительность родины, и русское беспутство.

Повертывала Россия к нему и «святое и свиное рыло» (Письма А. Блока). Слова «Да и такой, мой Россия, ты всех

краев дороже мне» Блок утвердил в «Двенадцати». В эти годы его творчество было достаточно зрелым и ёмким, чтобы вместить большие события, не страшась их. И было в нем достаточно безумства и «веселого ужаса» (последний по словам Блока «сидит в душе каждого русского»), чтобы хлебнуть разгула народного на тризне причудливой культуры «избранных», залетевшей в потустороннее одиночество. Сменить ее поднялся народ, в желание вернуть жизни утраченную дородность, совпадающую с основными законами сохранения человеческого вида. «Оттуда», куда унес его гуманизм, люди звали искусство «сюда», в помощь «здесьним целям», близким для всех, а не для немногих. Опасность придала аскетическую силу мистике поэта. Он не пошел сплотиться с подобными себе в самозащиту, а вышел навстречу новому, взяв с собой лишь свой дар. В этом он остался индивидуалистом в момент, когда культура этого толка приближалась к завершению.

Первые слова «Двенадцати» — «Черный вечер. Белый снег» — ключ к поэтическому строю поэмы. Она написана в черном и белом, красках зла и добра, равноценных в плане искусства, одинаково вдохновляющих, в противоположность плану людскому, где зло — губительно, а добро — спасает.

Вечер в «Двенадцати» воистину черен. Поэт не обелил грехов, не искал оправдать своего народа; он беспощаден, как может быть тот, кто любит вопреки всему:

В зубах — сигарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз
Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та!

Частушечный ритм, разухабистый, кошунственный, дышит удалью и похотью, но вдруг у людей, в озверенье боящихся самих себя, срываются слова:

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!..

Но и в разбое, рядом с преступлением, живет любовь.
Застреливший Катюку любимую «из-за удали бедовой в огневых ее очах» Петруха ревет в своей косолапой нежности: «Загубил я, бестолковый, загубил я сгоряча... ах».

«Оттуда», где остался Блок, события были видны, как с птичьего полета.

Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

А смена идет маршем — неумолимым историческим ходом:

...И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

Но белый снег вьюги запорашивает черноту вечера,
глохнет в сугробах шальная стрельба, и

Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...

Разве это не тот же поэт, кто писал «Земля в снегу»?

...Судьба народа-богоносца встает из белых сугробов мистики поэта:

Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос.

Недоумевающим хорошо вспомнить слова Вл. Соловьева о первых символистах в России: «Они не с Христом, но Христос с ними». Удивительно ли, что поэтическое виденье Блока

могло зародиться от слов того, с кем духовная связь его была несомненна.

«Розу и Крест» пронес Блок сквозь огонь революции. Огонь и кровь преобразены зареальным значением происходящего, безмерно далекого от жития «по-людски».

Одой «Скифы» А. Блок закончил свой путь. Она была ответом Западу после Брест-литовского мира, сделавшего союзников — врагами. Отвечали всколыхнутые со дна чувства исконно-русского величия, с его пангуманизмом, зовущим «на братский пир труда и мира» и врывающимися тут же угрозами Западу, не понимающему загадки Востока. Грозовыми раскатами долго таившихся обид звучат они, сверкают скифской дичью, азиатским варварством, сменяясь захолаживающей славянской любовью, уводящей от ярости.

«В 'Скифах' поэт говорит от имени национального хаоса», пишет Десницкий, «как последний хранитель заветов той культуры, которая создана в его представлении дворянской интеллигенцией для народа-богоносца — для всего мира в славянофильской христианско-социалистической редакции Достоевского. Он подает руку через грани столетий великому интеллигенту первой половины XIX века — поэту Пушкину (в его оде «Клеветникам России»), положившему начало эстетизации искусства. Они едины в позе национальной мессианской абсолютистности...»

Для меня эта ода — вырванные недра поэта, припавшего к родине и ударившего по всем струнам своей «варварской лиры» в последнем экстазе национализма. За «Скифами» последовало молчанье, а за молчаньем деревянный крест на родине, которую он не покинул.

Кэмпбэлл, Калифорния
1946 г.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

(Горький против Достоевского)

В России, как и за границей, говоря о Толстом, тут-же произносят имя Достоевского; говоря о Горьком, неизменно вспоминают Шаяпина. Для меня со времен моей юности эти два имени неотделимы друг от друга. Кто не знает фотографии, где они сняты в широкополых «шаяпинских» шляпах? Оба принесли с собой стихийный народный элемент, широту и глубину русского гения, оба связаны влечением к бродячей бурлацкой жизни, оба стали одновременно знаменитыми и любимыми.

Моя последняя встреча с Горьким произошла в том самом Берлине, где несокрушимая Красная Армия взвила теперь свое победоносное знамя. Чуют-ли его кости в могиле, что эта «наглая шайка организаторов новой мировой войны» — как он их называл — раздавлена Советским Союзом? «Фашизм, писал Горький, это мобилизация и организация нездоровых физически и морально отсоединений общества. Из среды этих человеческих отбросов выходят наймиты, авантюристы типа Гитлера, больные манией величия. Германией правят люди обезумевшие, и нет преступления, на которое они не были бы способны, нет такого количества крови, которое они побоялись бы пролить».

Наша встреча состоялась в маленьком ресторане, недалеко от Виттенберг-плац. Главной приманкой его были цыгане. Я думаю, что на эту приманку попались и Горький с А. Ремизовым, которые очень любили цыган; да кто из русских не любит послушать их?

Мы все трое сидели за небольшим столом и наслаждались пением. Горькому и Ремизову хотелось, чтобы спели «Невечернюю», песню, которой так восторгался Толстой, но к сожалению цыгане ее не знали. Это особенно огорчило Ремизова, и скоро мы ушли домой. По дороге я начал с Горьким разговор об оцильмовании его пьесы «На дне». Одно кинематографическое общество поручило мне вести с ним перегово-

воры для получения на это прав. Горький был в недоумении: «Как-же можно из этой пьесы сделать фильм? Ей-Богу — честное слово! Понадобится ведь показать прошлое всех этих «бывших людей», это-же будет скучно, честное слово. А вот у меня есть сюжет более интересный. Он вкратце передал его содержание. Дело шло о каком-то священнике, который всю свою жизнь служил в церкви, был очень набожным, но грянула революция, и он, сразу поняв ее значение, ушел в нее с головой. А к постановке «Дна» он отнесся резко отрицательно. Я не стал его переубеждать. Вскоре Горький уехал в Италию, и я его больше не видел.



Прежде чем приступить к рассказу о том, каким образом Горький оказался противником инсценировок Достоевского в Худ. Театре, хотелось бы напомнить о времени головокружительных успехов самого Горького. Имя Горького, как певца людей, брошенных на дно жизни, гремело по всей России еще до того, как Театр решил поставить его пьесы. Худ. Театру нужны были пьесы современных авторов: имея у себя Чехова, руководители его должны были во что бы то ни стало заполучить и Горького. От Чехова Театр узнал, что Горький пишет две пьесы. Когда Станиславский обратился с просьбой прислать их, Горький ответил: «Понимаете-ли какая это штука, обступили меня все эти люди, толкаются, пихаются, и я не могу ни посадить их на места, ни помирить их между собой. Все говорят, говорят и хорошо говорят, жаль остановить, ей-Богу, честное слово». Эти слова Горького относились к пьесе «На дне жизни», так называлась пьеса в первоначальной редакции. По совету Немировича-Данченко ее переименовали в «На дне».

Первой постановкой Горького в Худ. Театре были «Мещане». Премьера состоялась в Петербурге, где Театр был в то время на гастролях. Успех был средний. Зато вторая — «На дне» имела потрясающий успех. Жизнь босяков ни разу еще не была показана на русской сцене. Кроме того брожение идей, нарастающая революция, недовольство существующим строем, мечта о буревестнике — волновали и захватывали зрительный зал. Все это находило отражение в пьесах Горького. Если мы к этому прибавим блестящую режиссуру Станиславского, безукоризненное исполнение актеров, весь блестя-

щий ансамбль, — восторг публики будет понятен.

Горький стал героем дня. Вот пример, как его боготворила публика. Случилось, что Горький и Чехов присутствовали на каком-то спектакле в Худ. Театре. Чтобы их не заметили и не узнали, они спрятались в самую глубину ложи, но это их не спасло. Публика их все-таки увидела, зрительный зал зашевелился, по рядам прошел шопот: «Чехов, Горький, смотрите. Где? Да вон, в ложе, прячутся». Публика перестала смотреть на сцену и перенесла весь свой интерес на ложу, где писатели скрывались от назойливых глаз. Во время антракта зрители хлынули к ней толпой, загородив проход. Наконец, Горький вышел к ним раздраженный и негодующий: «Да разойдитесь же, вот история какая! Ну, чего глядеть, мы же не балерины, ей-Богу, честное слово. Не будем мешать артистам делать свое дело», и чем больше он при этих словах конфузился, тем становился обаятельнее.

Постановка третьей пьесы Горького «Дети солнца» совпала с событиями 1905 года. Вся Россия бушевала и кипела. Рабочие на Пресне строили баррикады, готовясь кровью постоять за свободу. По ходу пьесы сотрудники театра, изображающие штукатуров и одетые в белые заляпанные известкой халаты, в известный момент врываются на сцену и начинают громить и сокрушать все, что попадется под руку. Публика, напуганная событиями последних дней, приняла это за действительность; в испуге зрители бросились бежать. Понадобилось не мало труда, чтобы успокоить взволнованную аудиторию и водворить ее на места. После этого спектакль мог продолжаться.

Надо сказать, что репертуар Худ. Театра, за редкими исключениями, базировался на лучших литературных произведениях, как русских, так и иностранных. Переиграв все значительное в драматической литературе, Театр решил приступить к инсценировкам романов русских классиков. Идея эта принадлежала Немировичу-Данченко. Из русских романистов наиболее сценичным казался Достоевский. Он весь насыщен театральной динамикой и полон напряжения. Перечитывая его романы, просто диву даешься, что Достоевский, владея такой силой сценической выразительности, не написал ни одной пьесы. Этот вопрос был в свое время ему задан, и Достоевский ответил, что драматическая форма его стесняет. В драме нет простора, который имеешь в романе; в драме негде разгуляться, все ограничено, заключено в заранее определенные

рамки. «Мои мысли и мои чувства трудно уложить исключительно в одни только монологи, поэтому в драме мне тесно». А между тем казалось бы, что стихия его гемперамента, заключенная в диалогах героев и большой элемент мелодраматических положений, которыми он так щедро пользуется в своих романах, так и просится на сцену.

Поэтому Худ. Театр решил прежде всего взяться за Достоевского. Первой постановкой были «Братья Карамазовы». Исключительный успех и удача этого спектакля толкнули Театр на постановку «Бесов». В переделке пьесы называлась «Николай Ставрогин», по имени героя романа. Избрав это название, Театр как бы ограничивался историей одного Николая Ставрогина, отмежевываясь от всего остального, что происходит в этом огромном романе. И вот в самый разгар репетиций неожиданно получает суровое письмо от Максима Горького жившего в то время на Капри. В этом письме он со всей силой обрушивается на руководителей Худ. Театра. Передовой театр не имеет права, по его мнению, ставить этот «гнусный памфлет», заключающий в себе несправедливые нападки на русских революционеров.

Помню, какое страшное смутнение и недовольство вызвало это письмо в театре. Больше всех почему-то волновался и кипятился Сулержицкий, бывший в очень близких отношениях с Горьким. Нападки Горького на Достоевского, а следовательно и на Театр, — глубоко огорчали Сулера. «Театр, говорил он, не политическая арена, театр в основе своей интересуется не той частью в романе, где Достоевский бичует бесовскую свистопляску Петра Верховенского, а той, которая изображает сложную до чрезвычайности натуру Николая Ставрогина, принца Гарри».

Горький, кажется, не получил ответа на свое письмо. Спектакль был сыгран, но успеха не имел. Однако, декорации Добужинского были прекрасны и атмосфера, созданная режиссером, захватывала зрительный зал. Первая картина пьесы выпадала на воскресный день. Когда глазам зрителя представляла гостиная Варвары Петровны, чувствовалось, что это именно воскресенье, что люди только что вернулись из церкви.

Наступил 1917 год, и Горький приехал в Москву. Первое, что он сделал — пришел в Театр смотреть «Николая Ставрогина». Мы все были страшно взволнованы. Знаменитый автор снова был у нас в Театре, и мы не знали, как он отнесется к спектаклю, на который с таким жаром нападал. Но все обо-

шлось благополучно. После спектакля он зашел за кулисы, беседовал со Станиславским о театре вообще и одобрил, как это ни странно, постановку «Николая Ставрогина». К молодежи проявил он большое внимание и заинтересовался работой Первой Студии. В то время о Студии уже поговаривали. Она была любимым детищем Станиславского, созданным только благодаря его настойчивости. Вся работа в ней велась в духе его «системы» под руководством Леопольда Сулержицкого. О Сулержицком будет рассказано особо. Это любопытнейший человек, сыгравший большую роль в жизни Первой Студии, которого знали и ценили Толстой, Горький, Чехов, Шалапин. Станиславский шепнул нам, чтобы мы пригласили Горького в Студию посмотреть спектакль. Горький охотно согласился. В день его прихода ставили «Праздник мира» Гауптмана. Играли мы тяжело, истерично; нам молодым нравилось на сцене обнажать свои нервы во всю. Когда спектакль кончился, Алексей Максимович сказал нам, буквально, следующее: «Зачем вы из немца Гауптмана сделали Достоевского, честное слово! Не надо, уж очень тяжело выходит, и чем лучше вы играете, тем тяжелее становится зрителю. Я был удивлен, что публика уже после занавеса оставалась долго на своих местах под впечатлением вашей игры. Играете вы искренно — это хорошо, но истеричности не следует в себе культивировать, ей-Богу». Он еще долго говорил в этом духе. Приятно было его слушать. В беседе его не было ничего поучительного, она носила скорей характер доброго совета. Его окающий волжский выговор нам очень нравился. Длинных волос у него уже не было, он был острижен ежиком, щеки впалые. Он еще больше сгорбился, очевидно недуг его точил. Оживился Алексей Максимович, когда Станиславский стал ему рассказывать, что мы, работая над «системой», часто применяем к ней метод «комедия-дель-арте».

«Ах, это чудесно, ей-Богу, честное слово! Хорошо еще если автор умен, а то ведь бывает, что исполнитель выше автора — зачем же говорить артисту чужие плохие слова, когда он может сказать свои, и скажет он их искреннее, ведь они его собственные».

Он тут же дал нам скелет пьесы, где были намечены только положения, слова мы должны были сами найти и закрепить. Он собирался еще раз притти к нам, чтобы закончить эту пьесу, но был внезапно вызван в Петербург; так нам и не удалось ее поставить.

УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Певец во стане британских колониальных воинов Редиард Киплинг — писал апологетически об их любовных похождениях: «Люди, живущие в казармах и палатках, не могут вести себя, как гипсовые святые». Эта апология основана на том, что воинская доблесть связана с высокой половой активностью; во время испанской войны американская комиссия под председательством Тафта, впоследствии ставшего президентом, одобрила открытие на Филиппинских островах специальных «домов» для солдат и посоветовала регламентировать проституцию. Предполагалось, что это предотвратит эксцессы солдат среди местных женщин.

Подобные опасения не имели места в 1917 г., когда дисциплинированный экспедиционный корпус был подвергнут пропаганде полового воздержания во имя гигиенических, религиозных и моральных принципов. «Борьба с венерическими болезнями — вопрос морали, а не медицины», сказал один епископ. В результате, по неофициальной оценке полковника Амберна, 30 процентов американских военных воздерживались в 1918-1919 гг. от половых сношений, но официальная статистика указывает, что заболеваемость венерическими болезнями в американской армии была чрезвычайно велика (семнадцать на тысячу).

В начале второй мировой войны была повторена попытка рекомендовать полное воздержание: например, Джон Тенни, известный спортивный герой, написал в Ридерс Дайджесте в августе 1942 г. статью «о ярком щите полового воздержания». Однако, идеи этой пропаганды не встретили сочувствия среди военных врачей и командиров: врачи настаивали на том, чтобы военная администрация ввела меры обязательного предупреждения венерических болезней, предоставив вопрос о воздержании личной совести каждого. Эта мера одержала победу при поддержке командиров, которые заяви-

ли, что навязывание молодому рекруту борьбы с его здоровым инстинктом отягощает излишней нагрузкой его нервную систему. Полковник Юм в Медикал Рекорде от января 1943 г. писал: «Бодрость солдата важнее, чем его нравственность». В результате все солдаты и моряки получили детальные инструкции о предупреждении венерических болезней.

Как же сложилась их половая жизнь во время недавней войны? Известный авторитет, профессор Джон Хингизн Стокс, основываясь на материале, собранном военными врачами, утверждает в журнале Винириал Дисизес Информэйшон, что от 15 до 30 процентов американских солдат воздерживались от внебрачных сношений, 15 процентов искали их при всяких обстоятельствах, а от 55 до 70 процентов — только в зависимости от ряда обстоятельств: доступность женщины, ее инициатива, соответствующее отношение окружающих, интерес к работе и утомление от нее и, наконец, влияние алкоголя. По статистике того же Стокса от 40 до 60 процентов матросов и солдат пользовались продажной любовью, профессиональной и непрофессиональной. Остальные 40 или 60 процентов искали встреч в поездах, барах, на улицах, или имели продолжительные связи с девушками и замужними женщинами, одушевленными патриотическим пристрастием к военному мундиру, а то и просто жадной приключений.

С точки зрения риска заболевания вторая группа женщин опаснее, чем первая. Например, в Третьем морском округе (Нью-Йорк, Коннектикут, и Северный Нью Джерси) только 20 процентов моряков-венериков заразилось у проституток, а 80 процентов — у бескорыстных, более или менее постоянных подруг. Этот факт объясняется тем, что мужчина, пользующийся услугами продажной женщины, сознает ее общедоступность, а потому подозревает опасность заражения и принимает соответствующие меры; в свою очередь, такого рода женщина хладнокровно заботится о своем здоровье. Сближение же, основанное на страсти, мимолетной или глубокой, невольно создает у обеих сторон иллюзию единобрачия и заставляет их забыть о многочисленных предшественниках или предшественницах, следовательно, о возможности заболевания.

По наблюдениям врачей в армии и в гражданской жизни, характер проституции, а также отношение к ней мужчин, чрезвычайно изменилось за время войны. Профессиональная

проституция обслуживает либо специальные пороки немногих, способных дорого оплачивать свою эксцентричность, либо — в гораздо большей степени — некультурные и малосостоятельные слои общества. Она вербует главным образом среди умственно отсталых и бесхарактерных женщин. В более состоятельных кругах «дамы салона» и «дамы тротуара» постепенно исчезают: их место занимают полупрофессионалки и любительницы приключений (см. Кингсли Дэйвис «Социология проституции»), встречающиеся с мужчинами по вызову или посещающие холлы гостинниц, а то и просто коридоры собора на Таймс-сквере в определенные часы. Многие из них имеют постоянную работу, живут с родителями или мужьями. Их услуги оплачиваются иногда подарками, не деньгами, но они всегда основаны на материальной сделке, на выборе по расчету, а не по эмоциональным мотивам и поэтому должны считаться проституцией, хотя и не профессиональной.

К этой же категории следует отнести огромное количество женщин, о которых рассказывают солдаты, возвращающиеся из побежденных или оккупированных стран; они не всегда прибавляют, что покорение сердца сопровождалось подношением куска мыла, пачки папирос, шоколада, продуктов, являющихся недоступными для большинства населения в тех странах.

Впрочем, некоторые офицеры и солдаты не только знают коммерческий характер своих любовных завоеваний, но даже умышленно стараются подчеркнуть его. «Многие мужчины, интересные и привлекательные, которые могли бы при желании иметь любую женщину, предпочитают покупать бесстрастных и расчетливых», говорит известный сексолог Гарри Бенджамин. Эти мужчины избегают сентиментальных похвастаний из опасения неожиданных осложнений, ревности, шантажа и т. д. или оттого, что оберегают свою эмоциональную жизнь и не хотят вmeshать ее в мимолетную связь. Удовлетворение половой потребности по принципу коммерческой сделки, оставляет им полную свободу во внешней и внутренней жизни. Эти рассуждения ошибочны, так как шантажировать может и продажная женщина, а что касается внутренней жизни, то привычка к проституции является одним из опаснейших пороков: она может внедриться глубоко в характер мужчины и сопровождать его даже после удачного во всех отношениях брака.

Успех полупрофессиональной проституции у военных объясняется отчасти тем, что, находясь в долгожданном отпуске, они не решаются затратить драгоценные дни на сентиментальный флирт, способный лишь разжечь страсть, не удовлетворяя ее. К тому же современные полупрофессионалки умеют создать иллюзию бескорыстности, принимая дорогой сувенир вместо скромной платы.

Все эти наблюдения приводят к выводу, что гражданским властям не мешало бы применить метод, принятый военными властями во время войны: разделить задачи борьбы с венерическими болезнями от проблем контроля и пропаганды воздержания.

Статистические данные указывают, что профессиональная проституция является скорее второстепенным источником заражения, поэтому результаты контроля над нею не могли бы оправдать значительные материальные затраты. В виду того, что непрофессиональные проститутки и бескорыстные искательницы приключений не подаются даже приблизительному учету, гражданское население, как и воинские части, может быть защищено от заразы только путем просветительной пропаганды об опасности половых болезней и о пользе личной профилактики. Она должна достичь глаз и ушей всех взрослых мужчин и женщин, несмотря на целомудренные протесты многих из них.

Борьба с профессиональной проституцией будет, конечно, вестись полицией, в целях спасения умственно отсталых или физически ненормальных женщин от полной деградации. Что же касается более многочисленной непрофессиональной проституции, то полицейские меры против нее, — контроль гостиниц, меблированных комнат и т. д., мало действительны и еще чаще бесполезны. Она создана не экономической депрессией, а наоборот, экономическим подъемом: рост покупательной способности мужчин увеличивает число женщин, желающих улучшить свой стандарт жизни побочными доходами. Многие медицинские авторитеты, в том числе уже упомянутый Гарри Бенджамин, советуют признать это явление нормальным, отвечающим естественному спросу и естественному предложению.

«Солдат, не встречающий доступных женщин», пишет профессор Нью, «затратит всю свою энергию на совращение порядочной девушки и, нравится вам это или нет, эта девушка, быть может дочь одного из нас, станет кандидаткой в про-

ститутки». Эта старая теория проституции как громоотвода, справедлива лишь в весьма ограниченном масштабе: только небольшой процент мужчин прибегает к помощи «громоотвода» при всяких обстоятельствах. Предложение женщин вовсе не соответствует спросу на них, а наоборот, повышение их доступности вызывает усиление спроса. Во время войны многие молодые девушки считали себя как бы замужем, если у них не было поклонника в армии или во флоте, которому трудно было отказать в чем-либо, в особенности перед отправкой на фронт. Этот сантиментальный соблазн осложнялся соблазном материальным. Борьба с ними должна стать вопросом воспитания, школьного и внешкольного.

Опыт армии может пригодиться моралистам, добивающимся хотя бы воздержания от половой распущенности. Подчеркнутый выше факт, что 70 процентов солдат ищут женщин только при наличии определенных обстоятельств, указывает, что организация отдыха и сокращение потребления алкоголя, везде и всегда являющегося привратником проституции, могли бы уменьшить число нездоровых эксцессов. В задачу воспитателей входит также моральное воздействие на девушек, которых неопытность часто вовлекает в приключения, создающие затем впечатление доступности.

В виду того, что семья и религия не оказали должного влияния на молодежь во время этой войны, бывший нью-йоркский инспектор здравоохранения доктор Э. Л. Стеббинс предложил ввести в программу нью-йоркских средних школ курс социальной гигиены. Пуританские предрассудки некоторых слоев американского общества помешали осуществлению этого полезного проекта. Впрочем, весной 1946 г. представители школьной молодежи обратились в просветительный отдел с аналогичной просьбой, и ходатайство их имеет шансы на успех.



ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

НОВОСЕЛЬЯ

ДЛЯ ВСЕЙ ЕВРОПЫ

является

“ДОМ КНИГИ”

9 RUE DE L'EPERON - - PARIS — 6e

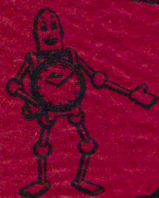
Mido

MULTIFORT

SUPER-AUTOMATIC

100% WATERPROOF

SELF-WINDING • SHOCK-RESISTANT • ANTI-MAGNETIC



ASTOUNDING BUT TRUE

One proud owner writes:
"I've had my Mido now over
a year and it's a part of my
body; I seldom remove it, I
fly with it, go swimming
with it, shower, take physi-
cal training with it and for-

get about it generally as far
as care and upkeep are con-
cerned."

No wonder service men,
as well as civilians prefer
Mido Multifort, Super-
Automatic.

Priced from \$49.50 up. Federal tax included.

SUPPLY LIMITED - WORTH WAITING FOR

